

МиМические СВИТКИ

2020

МИМИЧЕСКИЕ СВИТКИ

**Паровая типолитография А. А. Лапудева
Москва
Георгиевский переулок, домъ 19
2020**

Мимические свитки. — Москва, Паровая типолитография
А. А. Лапудева, 2020 — 200 с.

В данной книге собраны произведения, использованные
М. А. Булгаковым при создании романа «Мастер и Маргарита».

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения, извлечения прибыли и т. п. Все материалы получены из открытых источников.

© А. А. Лапудев, состав, предисловие, 2020

МиМика

Иногда такое случается. Прочитал роман и его не хватило. Становится чертовски интересно, а что случилось с героями дальше? Или что с ними было до? Или как сложилась судьба второстепенных персонажей? А если роман экранизирован, да ещё и не единожды — то незамедлительно тянет посмотреть все доступные версии.

Именно такая история и произошла со мной в этом году. Наконец-то я добрался до сериала Владимира Бортко по роману «Мастер и Маргарита». Безусловно, сам роман я читал и неоднократно. А ещё был в курсе множества негативных отзывов об этой экранизации. Но сел смотреть — и зацепило! Фантастический мир Михаила Афанасьевича неудержимо влёт к себе...

Я посмотрел итальянскую экранизацию 1972 года, посмотрел «Фильм на Страстную пятницу» от Анджея Вайды. Достал с полки и (наконец-то!) прочитал томик «Великий канцлер. Князь тьмы» двадцатилетней давности.

А потом перешёл на литературоведение. Благо шесть самодельных томов статей о Булгакове давно ждали этого момента.

Одним из любимых исканий авторов статей был поиск возможных предтеч «Мастера и Маргариты». Не буду здесь перечислять все произведения, озвученные литературоведами, но библиотека выходила изрядная. Хотя кое-кто из авторов и сомневался, что Булгаков действительно прочитал все эти книги, да ещё и скрупулёзно отобрал эпизоды, персонажей и места действия для своего романа.

Но ряд произведений меня заинтересовал. Судя по кратким их обзорам, писатель действительно опирался на их тексты при написании уже самых первых вариантов романа. У кого-то он позаимствовал описание Иерусалима, у кого-то имена персонажей, у кого-то саму идею связи событий библейских и современных.

Да вот только в доступе оказались далеко не все эти произведения. И это с учётом всеобщей любви к творчеству Михаила Афанасьевича и безудержной файлофикации всей страны!

Время было карантинное, время было достаточное. Так что я решил заняться поиском произведений, обязательных к прочтению, но пока не доступных поклонникам Великого писателя и Великого романа.

Собственно, результат поисков и предлагаю вашему вниманию, уважаемые читатели.

*Антон Лапудев,
Москва, 2020 год*

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ЧЕВКИН
ИЕШУА ГАНОЦРИ
Беспристрастное открытие истины
в 5 действиях и 6 картинах

Персонажи:

Понтий Пилат, прокуратор Иудеи.

Корнелий Сабин, трибун легиона.

Элий Ламия, римлянин-изгнанник, гость и друг Пилата.

Петроний, сотник аппараторов.

Клавдия Прокула, жена Пилата.

Саддукеи, представители иудейской аристократии:

Иосиф Каиафа, первосвященник иерусалимский.

Ханан, сын Сифа, тесть Иосифа.

Ионафан, сын Ханана.

Александр, из семейства Вээфусим.

Измаил, сын Фоаби.

Накдимон, сын Горион, фарисей.

Иешуа, раввин из Назарета Галилейского.

Странствующие ученики Иешуа:

Иуда, сын Симона из Кериофа.

Сыновья Ионы:

Симон-Камень.

Андрей, его брат.

Сыновья Зеведея:

Иоанн.

Иаков.

Фома.

Матфей.

Филипп, из Вифсаиды.

Симон — кананит (Зилот).

Иосиф, из Аримафаи.

Лазарь, из Вифании

Сёстры Лазаря:

Марфа.

Мария.

Мария, из Магдалы.

Иерусалимские жители различного состояния:

1-й фарисей.

2-й фарисей.

3-й фарисей.

4-й фарисей.

5-й фарисей.

Молодой Идумей.

Аппариторы из сотни Петрония:

1-й воин.

2-й воин.

Привратник Храма.

Раб Пилата.

Храмовый стражник.

Прозелиты-эллины, рабы, служители Храма, воины, саддукеи, фарисеи, народ.

Иерусалим. 32 год христианского летоисчисления.

І-й акт

«Нет человека столько добродетельного, чтобы он не имел пороков и столь дурного и порочного, чтобы в нём не было ничего хорошего».

Древняя Эдда. Гаве-Мааль

Площадка перед храмовым портиком. Там и сям камни и другие строительные материалы.

Раннее утро 13 ниссена.

Сабин медленно входит снизу, направляясь в преторий; ему предшествуют два раба-гладдиатора, которые одеты и стараются держаться почти как ликторы. Сзади следует группа воинов. В это время слева быстро выходит Ламия, сопровождаемый двумя полунагими рабами.

Двери храма медленно открываются. Старик-привратник, поворачивая створку дверей, угрюмо смотрит на римлян.

С а б и н (*весело*). Ого, слишком рано... (*повышает голос, так как Ламия его не замечает и не слышит*) Эй, Элий!.. Ламия!..

Л а м и я (*очнувшись*) Я Ламия!.. Кто здесь?

С а б и н. Это я, я! Очнись скорее, любимец Амура и немедленно поверни назад, иначе ты попадёшь прямо в объятия смерти.

Л а м и я (*радостно*) О, Корнелий! Привет тебе!

С а б и н. Неженка, любитель благовоний и вдруг на ногах, да ещё в глубокой задумчивости. Что это значит? Что случилось?

Л а м и я. Ах, Корнелий, случилось, случилось... Хвала богам, пославшим мне тебя. Право. Я бежал сам не зная куда, а сейчас чувствую, что именно ты, один только ты мне и нужен.

П р и в р а т н и к (*загораживая Ламии дорогу, гневно*).
Назад, ам гаарец!

Л а м и я (*не расслышав, добродушно*). Что тебе, прекрасный юноша?

П р и в р а т н и к. Назад, говорю тебе. Язычники не смеют приближаться сюда.

Л а м и я. Я?.. Римлянин?!. Не смею?

С а б и н. Да, да, Элий. Он прав. Не спорь.

П р и в р а т н и к (*наполовину скрываясь за створкою двери*). Собаки и язычники, свиньи и грешники не смеют входить сюда.

Л а м и я. О, гнусный Терсит!

С а б и н (*поспешно*). Элий, да хранит тебя Марс. Удержи свой гнев. Ты искалечишь этого старика, но тотчас же я должен буду схватить тебя за оскорбление иудейской святыни. Я потому и окликнул тебя, что ты чуть не вошёл в Храм. Видишь вон доска.

Л а м и я (*взглянув на доску и прочитав надпись, пожимает плечами, а затем отходит на середину сцены*). Гнусные варвары!

С а б и н. Ты действительно хотел проникнуть туда, в иудейский Храм?

Л а м и я. Я думал и это. Я сейчас как раненый зверь.

С а б и н. Не хочешь ли ты сделаться иудеем?

Л а м и я. Ах, Корнелий, ты шутишь и играешь словами.

С а б и н. А тебе не до этого? Что с тобою.

Л а м и я. Я искал... я хотел найти Гамалиила.

С а б и н. Очень почтенный и умный старик. Так что же, если тебе действительно надо пробраться туда, в иудейский Храм, то это можно устроить. Мы попросим Ханана или Каиафу. это очень любезные и умные люди, в особенности старик Ханан, переоденем тебя, и ты беспрепятственно войдёшь в эти ворота. Но уверяю тебя, что там нет ничего интересного. Грязная бойня и несколько лавчонок... А зачем тебе нужен Гамалиил?

Л а м и я. А теперь я думаю, что, пожалуй, ты больше мне поможешь.

С а б и н. Да в чём же дело, наконец?

Л а м и я. Я скажу тебе всё прямо и без утайки. Видишь ли, сегодня ночью я был там, в садах... с одной... иудейкой.

С а б и н. Ага!

Л а м и я. Она увлекла меня, Корнелий; я потерял голову и гордость.

С а б и н. Бывает — увы.

Л а м и я. Я подозреваю, что за нами шпионили. На заре, когда мы только что заснули с нею, к нам ворвалась толпа иудеев.

С а б и н (*иронически*). С тем чтобы поздравить тебя как новобрачного.

Л а м и я. Думаю, что нет, потому что у них в руках были палки, и они выкрикивали совсем не приветствия. Я едва успел набросить на себя тунику, а тогу схватил прямо так.

С а б и н (*скептически оглядывая Ламию*). Надеюсь, что хотя бы тунику ты одел свою, а не её.

Л а м и я. Они хотели схватить меня, но я начал внимательно рассматривать свой меч и они расступились. Я ушёл. Что мне оставалось больше делать.

С а б и н. Конечно, всё что нужно ты, наверное, уже сделал.

Л а м и я. О, да, разумеется.

С а б и н. Что же дальше?

Л а м и я. Я пришёл домой, приказал приготовить ванну и послал раба к ней, чтобы он узнал, что произошло там после моего ухода. Сам лёг отдохнуть.

С а б и н. После трудов этого рода всегда спится хорошо.

Л а м и я. Но мне не пришлось разоспаться. Раб, весь мокрый от пота прибежал и сказал мне, что они потащили её убивать. А-ах! Раб сказал мне, что они тащили её прямо за её чудные рыжие волосы.

С а б и н (*ошеломлённый*). Рыжие волосы! Элий, как её имя?

Л а м и я. Мария.

С а б и н (*с невыразимой гримасой весёлого и ошеломлённого прозрения*). Она родом из селения Магдалы?

Л а м и я (*растерянно*). Да.

С а б и н (*безжалостно*). И тебя так же свела с ума эта родинка, которая у неё вот здесь?

Л а м и я (*ошеломлённый в свою очередь*). Ты... ты знаешь?.. Ты тоже?

С а б и н (*с хохотом*). А кто же её не знает.

Л а м и я (*хватается за голову*). О, я несчастный!

С а б и н (*участливо*). А что, она обошлась тебе очень дорого?

Л а м и я (*упав с неба на землю*). Почему дорого. Я готов отдать за неё всё своё состояние.

С а б и н. Ну, это лишнее. От лица всего Иерусалима я протестую против такой порчи цены. Ночь Марии сейчас стоит не больше пяти тысяч динариев... Ах, ещё три года тому назад наши воины платили за прокат этого рубина по пяти динариев. Но, ведь сам понимаешь, драгоценный камень, чем больше шлифуется, тем он дороже.

Л а м и я (*сгибается как под градом пощёчин*). Корнелий, пощади.

С а б и н (*сурово*). Я хочу для твоей же пользы, чтобы ты отрезвился, квирит.

Л а м и я (*с силой отчаяния*). Её надо спасти, Корнелий, помни, что они повели её убивать.

С а б и н. Так вот для чего ты искал Гамалиила. Ты сам это придумал, или это тебе посоветовали?

Л а м и я. Мне посоветовали. Один из рабов знает обычаи иудеев.

С а б и н (*задумчиво*). Совет не дурён, Гамалиил очень умный и изобретательный фарисей.

Л а м и я. Корнелий, её повели убивать. Её надо спасти.

С а б и н. Ты говоришь, повели. Успокойся, значит, она жива и останется живой. Женщин или убивают сразу, или совсем не убивают. Её могли, по-ихнему обычаю, побить камнями там же, тогда же. Но если этого не сделали, то её обязательно приведут сюда, потому что у иудеев здесь и форум и претория и суд.

Л а м и я (*с сомнением*). Ты думаешь?

С а б и н. Уверяю тебя! (*что-то соображает*) Слушай Элий, очнись и будь спокоен. Иудейку мы спасём. За это я тебе ручаюсь. Жаль, мне некогда, я сам занялся бы этим.

Л а м и я. А ты куда спешишь?

С а б и н. Надо усилить гарнизон башни Антония. Видишь ли, мои сыщики донесли мне, что уже несколько дней город волнуется как растревоженный муравейник. Появился какой-то новый раввин-проповедник. Одни называют его пророком, другие обманщиком. В общем, все иудеи против него, но в подонках народа благодаря ловкой демагогии, он пользуется большим успехом. Мне донесли, что позавчера этот раввин устроил здесь в храме неслыханный скандал. Со своими приятелями он разгромил там несколько лавчонок, разогнал всех торговцев, а торговцы, все они Хананы, Воэфусимы, Камифы, Канферы — саддукеи; и теперь вся иудейская аристократия злобствует против него.

Л а м и я *(перебивает)*. Корнелий, какое мне дело до этих отвратительных варваров и их грязных скандалов! Её надо спасти.

С а б и н *(задумчиво)*. Видишь ли, кажется, что Мария из его шайки. Хорошо, к делу... Иди к Гамалиилу, или нет, иди к Иосифу Каиафе. Передай ему от меня привет, расскажи, в чём дело и проси его помощи. Чтобы он не сомневался, покажи ему это кольцо *(снимает с пальца золотое кольцо)*. Ты вернёшь его мне, когда встретимся. Я же иду к прокуратору с утренним приветом и докладом. Когда он отпустит меня, я сейчас же займусь твоим делом. Иди к Иосифу. Вот так прямо, потом наверх, за ту стену, видишь, серая с балконом.

Л а м и я. Вижу, вижу.

С а б и н. В узкий переулочок мимо неё. А там спросишь.

Л а м и я *(уходит; на ходу оборачиваясь)*. А ты где будешь?

С а б и н. Через час у прокуратора. А там если уйду куда-либо, скажу сотнику стражи претории.

Л а м и я *(скрываясь)*. Благодарю тебя!

Сабин со своим отрядом уходит налево в преторию. В это время из глубины справа, тихо разговаривая, входят Фома и Иуда. Ламия на ходу нечаянно задевает Фому и тот, шарахнувшись в сторону, гневно сплёвывает.

Ф о м а. Горе Иерусалиму! Собаки язычники рыщут около самого храма.

И у д а (*робко заглядывает во двор храма и нерешительно останавливается*). Его ещё нет... наших никого не видно.

Ф о м а (*вполголоса осторожно*). Быть может они там, в храме. (*С беспечным видом подходит к привратнику*). Шелом, шелом почтенный.

П р и в р а т н и к (*прислушавшись к произношению Фомы, угрюмо и с явной неохотой*). Алейхем... что тебе надо от меня?

Ф о м а. Ничего, приятель. Смотрю: нет ли наших земляков.

П р и в р а т н и к (*гневно*). Твои земляки? Пусть земля проглотит твоих земляков как проглотила она нечестивого Авирона. Ваши галилеяне отныне позор для Израиля.

Иуда прислушивается и отходит в сторону, в авансцене.

Ф о м а. За что, приятель?

П р и в р а т н и к. За ваши святотатные проделки. За вашу дерзость... Ты что же не знаешь, что позавчера наделал здесь ваш галилейский обманщик, Иешуа, раввин из Назарета.

Ф о м а. Ничего не знаю.

П р и в р а т н и к. Он забрался в храм раньше всех и полдня богохульствовал и называл себя пророком. Что он только говорил! То он грозил разрушить храм через три дня, то он грозил огнём всему Иерусалиму. Полдня он спорил с фарисеями, а когда праведные фарисеи обличили его, он пришёл в ярость и начал с несколькими оборванцами из своей шайки громить продавцов священных предметов... Говорят, что он сразу хотел поднять восстание... Глупец!.. Они оскорбили самых почтенных граждан. Почтенному Измаилу Бен-Фааби один из разбойников разбил весь глаз. Здесь поднялся такой крик, что прибежали собаки-язычники из этой проклятой башни. Ещё бы! Язычникам только и нужно, чтобы в храме происходили волнения. Проклятым свиноедам первая радость, когда среди Израиля возникает беспорядок; они могут

вмешаться в нашу жизнь и пограбить нас. (*Пауза. Продолжается ворчливо*). Он ссылался на пророков Иеремию и Исаию, что торгующие оскорбляют храм. А своим отвратительным скандалом он разве не оскорбил храм ещё больше... Уже два года он смущает святой народ. Он приходит сюда со своими галилейскими головорезами и насмехается над фарисеями. На фарисеев он ещё мог нападать смело: когда он уязвлял их, даже Александр, даже сам Ханан смеялись... Но теперь он превысил всякую меру дерзости. В него вошёл сатана! Он осмелился напасть на саддукеев, в руках которых вся власть над Израилем... Чего он хочет?.. Куда он идёт?.. Но теперь ему несдобровать. Пусть только поймают его. Пусть только он сунется сюда...

Ф о м а (*осторожно*). Я слышал об этом, но я слышал, что он сделал это по необходимости. Он вступился за Иерусалимскую бедноту. С бедняка Симона-башмачника Ханан-сын требовал целый динарий за пару голубей для жертвы. Где же бедному ремесленнику взять такие деньги. С того и началось.

П р и в р а т н и к. Так, по-твоему, такие вопросы следует решать дракой и скандалом?

Ф о м а (*простодушно*). А что его нет сейчас там, в храме?

П р и в р а т н и к (*гневно*). Нет, конечно! Да он теперь и не осмелится, я думаю, показаться здесь.

Ф о м а (*отходя к Иуде, подавленно и печально*). наших нет.

И у д а (*угрюмо*). Да, слышал.

Ф о м а (*беспомощно озирается*). Что же нам делать?

И у д а. Идти просить приюта у бродячих собак.

Ф о м а (*горестно*). Правда. Мы с тобою сейчас как заблудившиеся овцы без пастуха.

Иуда угрюмо молчит. Фома оглядывается, вздыхает, и садится на камень.

Ф о м а. Что же, будем ждать его здесь. Больше нам некуда деваться.

*Иуда после некоторого колебания садится рядом с Фомой.
Справа и слева в ворота храма начинают проходить
Иерусалимские жители.*

Ф о м а (*простодушно и задумчиво*). Как изменился в эти дни в Иерусалиме наш учитель. Каким он сделался злым и раздражительным.

И у д а. Иерусалимляне — народ образованный, опытный и осторожный. Их не возьмёшь с налёта. Сколько они перевидали здесь всяких пророков и обманщиков.

Ф о м а (*не слушая Иуду, продолжает увлечённый своими мыслями*). Ты помнишь, каким ласковым и добрым он был там, в нашей родной и прекрасной Галилее до прихода сюда. Вспомни, чему он учил нас тогда: благословенны обиженные, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, не судите и не осуждайте никого. А теперь...

И у д а. А теперь он сам только и делает, что осуждает, проклинает и угрожает. Его речь полна злобы и ненависти. Он изменился. Воздух Иерусалима отравил его разум.

Ф о м а. Иерусалимляне своим равнодушием раздражают его.

И у д а. Вчера, рано утром я встретил его по дороге из Вифании. Он шёл продрогший, голодный и злой. По дороге смоковница. Ну, суди сам, откуда и какие сейчас смоквы... Он вскочил на развилину сучка, осмотрел всё дерево и конечно ничего не нашёл.

Ф о м а (*с живостью*). И что же?

И у д а. Спрыгнул на землю и давай проклинать ни в чём не повинное дерево. Я не знал, куда смотреть от стыда... Все эти дни он прячется в садах по ночам со своими любимцами, сыновьями Ионы и Зеведея. (*С глубокой обидой*). Прячется даже от нас, своих учеников... За что же он так обижает нас своим недоверием?

Ф о м а (*таинственно*). Ему надо прятаться. Служители Синедриона ищут схватить его. Теперь уже все саддукеи поднялись на него. Горе нам.

И у д а (*задумчиво с глубокой печалью*). Да, Иерусалим не галилейская деревня... Царём сделаться не так просто.

Иешуа в этом крепко убедился и теперь выходит из себя... А в чём же виноваты мы?

Ф о м а. Мы любим его. Мы ни в чём не виноваты.

И у д а (*помолчав*). Потом я просил его помочь мне. Я хочу сватать Марию сестру Лазаря.

Ф о м а. Молодую?

И у д а (*угрюмо*). Да... А он рассердился и начал упрекать меня за то, что я только и думаю о себе.

Ф о м а (*простодушно*). Учитель очень любит её.

И у д а (*осенённый догадкой и дико сверкнув глазами*). Что говоришь ты?

Ф о м а. Что с тобою?

И у д а. Я немногого хочу. Я немногого прошу. Он хочет, поступить со мною как Давид с Урией. Неужели ему мало? Он хочет и эту овечку взять себе. (*Сжимая кулаки*). Нет, этого не будет!

*Среди идущих в храм к воротам подходит Симон-Зилот с тремя товарищами. Увидав Фому и Иуду, они радостно направляются в их сторону. Все размениваются приветствиями. Фома встаёт, Иуда остаётся сидеть.
Возгласы: Шелом Алейхем, Алейхем Шелом.*

С и м о н - З. (*нетерпеливо, Фоме*). Где он?.. Приходил?.. Видели его?

Ф о м а (*печально*). Нет, его нет. Мы ждём его здесь. Мы боимся идти туда без него.

С и м о н - З. (*опасливо и гневно озирается на ворота храма*). Недолго осталось стоять этому гнезду нечестия. Завтра мы разрушим его до основания. Камни, эти огромные камни падут на головы грешников, саддукеев и грязных мытарей. Их кости будут хрустеть под камнями и кровь их будет брызгать до самого Кедрона.

М а т ф е й (*подходит*). Кто проклиняет мытарей? А разве учитель не сказал, что мы, мытари, войдём первыми в его царство.

С и м о н - З. (*сверкнув глазами*). Да, ты войдёшь первым, если только сможешь протиснуться под этими локтями.

Подходит ещё группа учеников.

Матфей (*начиная свирепеть в свою очередь*). Во всяком случае, постараюсь обойти локти зилота и сикария.

Симон-З. Сикария — говоришь ты, языческий наёмник. Сикка — нож, хорошая вещь, я без промаха владею им. Что же, им быстро можно вырезать язык иного пролазы.

Матфей. Вырежи лучше свой и отдай его какой блуднице. Он очень пригодится ей.

Симон и Матфей, сжимая кулаки, тяжело дыша, вперяют друг в друга гневные взгляды.

Фома (*поспешно*). Братья, успокойтесь. Ведь всем хватит места. Ведь каждый из нас получит по колену Израилеву. Неужели вам мало? Из-за чего вы ссоритесь.

Иуда (*недоверчиво*). Откуда же по колену? Сколько, по-твоему, колен у Израиля, когда нас уже больше тридцати, не считая женщин.

Симон-З. Женщины не в счёт. А править будем мы — первые двенадцать и больше никто. Пусть сунется кто-либо из этих новых здешних пролаз и (*бросает взгляд на Иуду*) иудеев. Пусть только протянет руки, я вырву их ему с костями и мясом.

Небольшая группа у ворот храма останавливается с оживлёнными жестами и все смотрят направо.

Возгласы: Вот он! Вот он! Галилейский пророк!

Группа у авансцены, увлечённая ссорой Симона и Матфея, ничего этого не замечает, а в это время на площадку справа входят Иешуа, Иоанн, Иаков, Андрей и Симон-Камень. Все они одеты одинаково просто, почти бедно. Группа у ворот Храма с любопытством следит за вновь пришедшими. Иешуа замечает группу учеников и с радостною улыбкой поворачивает со спутниками к ним. Вид у него усталый.

Симон-З., Иуда, Фома (*радостно*). Учитель, учитель!

Иешуа. Шелом алейхем, друзья мои.

Симон-З., Иуда, Фома и другие. Алейхем, Алейхем, Алейхем шелом.

Иешуа (*замечает камень*). Я устал, друзья мои, дайте отдохнуть немного. Мы шли сегодня долго. (*Указывает на другой камень*). Симон-Камень, садись.

Симон-Камень садится.

Матфей. Радуйтесь, строится новый Иерусалим. (*Указывает на Симона-Камня*). Господин наш кладёт уже камень на камень.

Иешуа добродушно улыбается; ученики смеются над шуткой Матфея. Подходящие со всех сторон к воротам Храма иудеи не входят в ворота, а сворачивают и медленно вокруг группы Иешуа вырастает толпа.

Симон-З. Учитель, рассуди нас с Матфеем и скажи кто будет первым в твоём царстве.

Иоанн (*с живостью*). Скажи, Иешуа. Я тоже хочу это знать.

Иешуа (*обводя взглядом всех*). И вы тоже?

Все. Да, да. Скажи, просим тебя!

Иешуа (*медленно, торжественно и многозначительно*). Слушайте и хорошенько запомните, что говорю. Первым в царстве у меня будет тот... кто пока в этом царстве сумеет быть самым последним.

Слушатели смущённо и разочарованно переглядываются.

Фома (*тоскливо*). Но когда же, когда, учитель, начнётся оно, твоё царство?

Иешуа. За нетерпение твоё не скажу тебе этого, но знай и знайте вы все... (*потупив голову, задумывается на секунду*). Судьбу каждого человека знает только благословен-

ный. Сейчас ты жив, а через час тебя поразила смерть. Но целая толпа не может погибнуть так скоро (многозначительно) И вот ручаюсь вам, что многие из вас увидят меня во всей славе царской. И тогда верные будут награждены всем, и домами, и почестями, и богатством, и рабами, а те, кто не уверовал, не смотря на все знамения, которые даются сейчас, те будут отданы в рабство на позор, на всяческие мучения и преданы смерти.

*Некоторые из слушателей радостно выпрямляются,
другие — наоборот — разочарованно потупляют глаза,
иные со страхом переглядываются*

1-й ф а р и с е й (*выдвигаясь из толпы*). Учитель, мы готовы верить. Но скажи, какие же это знамения? Укажи хоть одно. Где они? Каковы они?

И е ш у а (*с гневным укором*). Знамения нужны вам? О, род лукавый и недоверчивый! Ты хочешь наверняка знать куда тебе идти и перед кем повилять хвостом. Ты хочешь получить верный выигрыш без всякого риска. (*С возрастающим воодушевлением обращаясь ко всей толпе и повышая голос*). Когда вы смотрите на небо и видите, что закат красный, что вы говорите. Будет хорошая погода. Так?.. Когда вы видите, что на ветках появляются почки, вы говорите наступила весна. Знамения неба вы умеете различать, а знамение времени различать не умеете... Говорю вам и повторяю. Готовьтесь, идёт новое царство, царство о котором вам предсказывали пророки. Счастлив тот, кто войдёт в него. А войдут в него все несчастные и обиженные, их ждёт там блаженство! Будут блаженны там нищие, плачущие, голодные, холодные, обиженные, все пострадавшие за правду. И будут они там владыками и господами, а служить им будут все те, кто сейчас богаты, которые уже получили всё, что можно и не хотят этого царства, потому что в нём они будут последними рабами. В это царство зову я вас, все нищие, голодные, обиженные, плачущие, страдающие.

Молодой и думей (*огромного роста, в бедной рваной одежде*). Как же войти в это царство, господин? Научи!

Иешуа. Даже плоды не падают сами в рот; их надо сорвать... Понял? Это царство берётся силой и те, кто сильны и смелы — возьмут его.

Идумей. Силою?.. Значит восстание?

Иешуа. Кто мне служит и исполняет волю мою — тот пойдёт со мною, потому что такова воля моего отца. Но кто дрожит за свою шкуру, тот потеряет её всё равно и так и этак, а кто не дорожит своею жизнью ради меня, тот сохранит её и получит всё. Пришло время суда! Пришло время изгнать нечестивца, сидящего на троне и когда я буду вознесён, — всех привлеку к себе, всем воздам во сто раз больше. Надо на время оставить плуги и лопаты и взяться за мечи. Говорю тебе: не мир даю я вам, а меч. А кто колеблется и сомневается, тот недостоин этого царства. Кто не со мной, тот против меня!

Идумей. Господин, мы пойдём за тобой, дай только знамение. Мечи мы найдём. Завтра в Иерусалиме не останется в живых ни одной собаки; всех перебьём, кого ты укажешь. Дай знамение!

Толпа (*смыкаясь ближе, глухо и настойчиво*). Мы видим, что ты пророк. Дай же знамение! Знамение! Знамение! Покажи знамение! Дай знамение!

Иешуа (*озирается*). Вы хотите знамения? Вы требуете знамения?! Горе же вам, видящие и незамечающие, слышащие и неразумеющие; (*со страстным воодушевлением*) горе вам, слепые овцы Иерусалимские. Как же вы не видите самого главного знамения времени, того, что наполнилась земля и стонет под гнётом мерзости, греха и нечестия. Народ божий и город святой и Храм под властью язычников. Богатые забрали всю власть в свои руки, ведут дружбу с язычниками и притесняют народ святой; они загребают дома вдов и сирот ваших, снимают с бедных последнюю рубашку, презирают народ и глумятся над ним. На всё у них один ответ: кулаки и палки.

Слева показывается в сопровождении двух воинов сотник Петроний. Он останавливается в стороне и со сдержанным любопытством прислушивается. Заметив его, Иешуа круто обрывает речь и с тонкой иронией указывает на римлян.

Иешуа. Какое же знамение ещё нужно тебе, Израиль?

*Сходит с камня и остаётся недвижим, понунив голову.
Толпа гудит, но не враждебно, а скорее благожелательно.
Входит, по пути к Храму, Накдимон и останавливается,
перед ним почтительно расступается толпа.*

2-й фарисей (*вкрадчиво, поглядывая в сторону римлян*). Друг, я вижу, что ты действительно мудр и не смотришь ни на кого.

Иешуа (*недоверчиво*). Благо тебе, если ты понял это.

2-й фарисей. Но вот вопрос: Позволительно, как ты думаешь, можно ли, следует ли давать подать цезарю?

Иешуа стоит, потупив голову.

Толпа. Отвечай, отвечай, отвечай.

Иешуа (*быстро поднимает голову*). Дайте сюда динарий!

Иуда. Вот, учитель, возьми (*подаёт монету*).

Иешуа внимательно рассматривает монету.

Толпа выжидательно стихает.

Иешуа (*поднимает над головой монету*). Чьё здесь изображение?

2-й фарисей. Цезаря!

Иешуа. Значит, это принадлежит ему? Так и отдавайте цезарю — цезарево!

В толпе проходит неопределённый гул разочарования.

Петроний (*воинам*). Он находчив и рассуждает не глупо. Оставайтесь здесь и, если что случится, ты приди за мною (*уходит налево*).

Накдимон. Но если ко мне придёт сборщик и у меня не будет римского динария, а будут драхмы или вот эти сикли, на которых написано: святой Иерусалим, а сборщику всё

равно какими монетами ему заплатят: Так вот драхмами или этими сиклями можно платить подать цезарю?

И е ш у а (*уклончиво*). Божье отдавайте богу.

2-й ф а р и с е й (*торжествующе возвышает голос в сторону римлян*). Значит драхмами или сиклями ты запрещаешь платить подати цезарю?

И е ш у а. Божье отдавайте богу.

Толпа сдержанно гудит. Накдимон уходит в храм, не выражая ни сочувствия, ни порицания.

2-й ф а р и с е й (*язвительно*). Ты постоянно упрекаешь нас, фарисеев, в том, что мы виляем и служим богу и мамоне. Теперь признаюсь, что ты действительно учитель и в искусстве виляния нужно учиться у тебя (отступает в глубину, провожаемый сочувственным гулом толпы).

Иешуа садится на камень.

Симон-К. и Иоанн говорят разом в разные стороны.

И о а н н (*вслед уходящему фарисею*). Иди, слепец; уходи! Нам не надо таких. О тебе и о таких как ты сказал Исаия: Народ этот ослепил глаза и окаменил сердце, не видят глазами и не понимают сердцем и не обратятся к сыну человеческого, чтобы он исцелил их.

С и м о н - К. Слушай, Израиль! Слушай, пока ещё не поздно. Оглянитесь на себя в какой грязи, в каких беззакониях вы живёте. Взгляните, как поругана всюду справедливость, сколько обид делается народу; наступает великий день очищения, а вы отворачиваетесь от вашего царя, который несёт вам справедливость, свободу и радость.

1-й ф а р и с е й (*с тоскливым отчаянием*). Долго ли ты будешь держать нас в недоумении? Если ты Мессия, — скажи прямо!

Т о л п а. Да, да, скажи прямо!

И д у м е й (*наступая на Иешуа, запальчиво и страстно*). Если ты Мессия, скажи прямо и дай знамение с неба. И мы сейчас все разом пойдём за тобой.

Толпа наэлектризована и возбуждённо гудит. Через общий гул голосов прорываются страстные возгласы: он пророк!.. слушайте его!.. пусть даст знамение!.. обманщик!

Иоанн (со страстною мольбою). Учитель, доколе же ты будешь медлить?! Призови, прикажи грому прогреметь в небе и пасть на головы нечестивых.

Симон-К. (поддаваясь настроению толпы). О, если бы ты дал знамение! Весь Иерусалим сейчас поднялся бы за тобою как один человек

Иешуа (невольно бросая взгляд на безоблачное небо, медленно, таинственно и важно). Ещё не пришёл час прославиться сыну человеческому.

Со стороны входя в Храм движение и шум голосов. Возгласы: Сюда! Здесь он!.. Головы поворачиваются назад.

К Иешуа подходят Ионафан, Измаил, Александр.

У Измаила под глазом большой синяк.

Александр (захлёбываясь от глумливого восторга). Радуйся! Радуйся, галилеянин! Сейчас ты прославишься перед всем народом Израиля!

Ионафан. Слушайте все! Тише, внимание!

Измаил. Отвечай нам, Иешуа! Отвечай нам громко, перед глазами всего народа. Ты знаешь женщину из Магдалы. именем Мария?

Иешуа, инстинктивно чувствуя какую-то ловушку, опустив голову, молчит.

Иоанн (вызывающе). Мы все знаем её.

Измаил. Она ваша и живёт по учению вашему?

Иоанн, Иуда, Симон-К. (вместе). Да, она наша. Она с нами.

Измаил коротким жестом даёт знак тесно сомкнутой группе саддукеев: эти расступаются и выталкивают вперёд женскую фигуру: Ионафан срывает с неё покрывало и открывает бледное, искажённое стыдом лицо Марии.

Ионафан (*торжественно с бесконечной глумливостью*). Сегодня ночью эта женщина взята в прелюбодеянии с язычником. Вот каковы твои ученики!

Измаил. Моисей велит побивать таких камнями. Ну, а что ты скажешь?

Кое-где слышен смех. Ученики переглядываются в сильном волнении. Иешуа сконфуженный, низко опустив голову, чертит пальцем по земле. Мария, упав на колени, прячет лицо в покрывало.

Измаил. Что же ты молчишь, Иешуа?

Александр. Или может по-твоему блудницам надо воздавать почёт и хвалу?

Иешуа. Хорошо... (*встаёт и говорит с грубым вызовом и иронией*) побейте её. И кто из вас не согрешил с нею, первый брось в неё камень.

Смущённая пауза. Саддукеи переглядываются.

Иоанн (*радостно*). Начинайте же! Вот камни. Сколько угодно. Начинай хоть ты приятель. Вон у тебя под глазом какой светильник праведной жизни.

Измаил (*с лицом искажённым бешенством*). За этот светильник я ещё разочтусь с тобой (*скрывается в толпе*).

Толпа гудит добродушно и весело. На саддукеев смотрят враждебно. Уличённая блудница неприятна толпе, но ещё больше неприятны богато одетые и надменные, суровые саддукеи. Так или иначе — настроение сорвано, галилеяне осмеяны и скомпрометированы.

Голос из толпы (*вызывающе и весело*). Начинай ты, Ионафан!

Другой голос. Александр, ты у язычников кажется хорошо научился бросать камни.

Из толпы несутся и другие насмешливые возгласы.

Саддукеи ясно и быстро понимают, что толпа настроена благодушно и в дальнейшем словопрении примет сторону их противника. Один за другим, они уходят в Храм, сурово озираясь и шепча молитвы.

И о н а ф а н. Иешуа, разделявайся сам со своей блудницей как хочешь (*отходит и говорит гневно*). Я же объявляю тебя при всём народе, что вот уже прошло три раза по сорок дней и никто не явился в Синедрион засвидетельствовать твою невинность. Вот говорю тебе, Иешуа, перед глазами всего народа: Твоё нечестие, твоё богохульство, твои оскорбления самых почтенных людей, твои разбойничьи проделки твоё подстрекательство вопиют об отмщении. Тебя никто не трогал. Ты сам налез на рожон, ты сам накликаешь на свою голову и пеняй на себя. Горе тебе, нечестивец, обманщик и соблазнитель!

Толпа испуганно стихает, ученики переглядываются.

И о а н н (*возбуждённо*). Иди и не беспокойся, ты получишь свидетельство в своё время! Громы небесные просвидетельствуют перед тобой!

И е ш у а (*поднимая голову*). Женщина, где же твои обвинители?

Мария молча испуганно озирается.

И е ш у а (*с юмором*). Никто не осудил тебя?

М а р и я. Никто, учитель (*радостные огоньки бегают в её глазах*).

И е ш у а (*с добродушной улыбкой*). И я не осуждаю тебя.

Грубо расталкивая толпу, вбегают Элий Ламия; он гневно возбуждён и правой рукой держится за меч.

Заметив Марию, останавливается в стороне, а Мария, в свою очередь, заметив его, испуганно отворачивается, встаёт и поспешно уходит направо. Ламия, проводив её взглядом, уходит налево.

1 -й ф а р и с е й (*горестно качая головой*). Вот что мы видим. Для блудницы у тебя нет не только слова осуждения, но даже ни одного слова укоризны. О, Израиль, отдавай смело в блуд твоих дочерей. Твой новый царь ведёт тебя в царство блудниц.

И е ш у а. Не в царство блудниц, а в царство правды и справедливости, в котором не будет места всем обидчикам народа израилева... Горе вам, книжники и фарисеи, что затворяете и загораживаете двери этого царства. Сами не идёте в него и хотящих войти не пускаете.

И д у м е й. Ты правильно говоришь, — мы хотим идти за тобою, а нас не пускают. Но ты и сам не хочешь тоже открыть двери, хоть немного. Дай знамение! Дай хотя какое-нибудь знамение.

И о а н н. А чудеса, которые совершил наш учитель?

С и м о н - К. И которые мы все видели!

1 -й ф а р и с е й. Но мы их не видели.

И д у м е й. И мы не видели!

Г о л о с а в т о л п е. Не видели!.. Никто не видел!

Ф а р и с е и. Мы слышали, что ты хорошо лечишь больных, но что в этом особенного. Это умеют многие.

И д у м е й. Посуди же сам, как нам быть. Твои товарищи говорят, что ты пророк, но они такие же простые люди, как и я, а вот почтенные и праведные фарисеи, которых мы уважаем и им верим, потому что они знают закон и пророков, они говорят, что ты обманщик.

2 -й ф а р и с е й. Да, обманщик!

3 -й ф а р и с е й (*убеждённо*). И я свидетельствую что обманщик!

И д у м е й (*разводя руками и указывая на фарисеев*). Суди сам, как же нам быть.

И е ш у а. Не я, а вы обманщики, слепые вожди слепых... А ты (*обращается к молодому идумею*), слушай, что я тебе скажу. Некий господин, вернувшись из далёкого путешествия и желая испытать своих рабов, надел одежду раба, скрыл своё лицо и войдя в дом свой громко сказал всем: Мир вам. И вот иные рабы узнали его, пали перед ним и приветствовали его, а иные начали гнать его и оскорблять. Как думаешь кого из

них, открыв лицо своё, наградит и обласкает. Тех ли, которые гнали его или тех, которые признали его.

Симон - К. *(с воодушевлением возвышая голос)*.
Вспомните, что сказано в псалме Давида: камень, который отвергли строители, тот делается главою угла.

Иоанн *(гневно)*. И кто зацепится о камень тот — уьётся.

Андрей. А на кого он упадёт, того уьёт.

Иешуа. Вы, фарисеи, горе вам и проклятие вам, порождение ехидны, сыны дьявола!.. О, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает под крылья птенцов и вы... не хотите. Так вот оставляется дом ваш *(указывает на Храм)* пустым. Не увидите меня в нём до тех пор, пока не сознаётесь и не скажете благословен идущий во имя святого...

Внезапно среди глубочайшего, смущённого и внимательного безмолвия раздаётся звук трубы.

Иоанн *(исступлённо и радостно)*. Вот знамение! Вот труба архангела! Слушайте!

Голос из толпы. Труба, но только не архангела, а римского воина.

В толпе смех; ученики сконфужены.

Воин *(выходит справа)*. Дорогу! Идёт прокуратор Понтий! Дорогу прокуратору! Прочь, грязная чернь!

Иешуа. Завтра вы получите знамение.

Толпа. Скорее! Скорее; мы ждём!.. Ты истинный пророк!..

*Толпа расступается и сумрачно расходится.
Справа налево через сцену рабы на носилках несут Понтия
Пилата, которого сопровождают Элий Ламия,
Корнелий Сабин, воины и рабы.*

*Иешуа и его группа медленно уходят вниз.
Многие из толпы низко и льстиво кланяются Пилату,*

*который отвечает едва заметным презрительным и
надменным кивком головы.
Ламия внимательно рассматривает толпу.*

ЗАНАВЕС

II-й акт

«Из всех видов человеческой глупости наиболее невыносимый — фанатизм»

Ф. М. Аруэ

Вифания. Направо открытая вперёд горница; налево двор и сад. В глубине ограда и ворота.

Сумерки, затем вечер того же дня.

*В горнице в углу лежит Лазарь.
Иешуа у ворот провожает группу эллинов.*

Иешуа. Идите с миром, друзья. И делайте всё, как я сказал. Иерусалимляне хотят чуда. Они получают чудо.

*Вместе с гостями Иешуа скрывается за воротами.
В это время из двери в глубине горницы входит Иоанн
и с изумлением смотрит на Лазаря.*

Иоанн. Лазарь! Ты здоров, жив? И уже ходишь?

Лазарь. Хожу, радуюсь. И вот пришёл поблагодарить нашего учителя.

Иоанн. В последний раз, когда я видел тебя, ты был без движения. Ты был как мёртвый!

Марфа (*входит из глубины и убирает горницу*). Видишь, как он поправляется? С каждым днём ему лучше и лучше.

Лазарь (*важно и таинственно*). Сёстры говорят, что я был в горячке и три дня не приходил в себя. Но я знаю, что эти три дня я был мёртвый. Суди сам, разве может живой человек видеть то, что там, за смертью? А я видел. Видел всё. Ты знаешь писание, скажи сам: может ли живой человек видеть бесов?

Иоанн. Нет!

Л а з а р ь. А я их видел. Косматые, страшные бесы кидались на меня. Они наваливались на меня, жгли меня страшным огнём. Огни, огненные круги так и ходили передо мною.

М а р ф а (*с простодушным удивлением*). Да, да. Действительно, в это время он был горячий, как камень на очаге. Он едва шевелился и всё время просил пить.

Л а з а р ь. А потом бесы хватали меня и сразу окунали в холодную пучину. До самого сердца холод пронизывал меня. Я только теперь понимаю, что это был холод могилы. И вдруг повелительный голос Иешуа: Лазарь, очнись! Лазарь встань!.. И я воскрес. И глаза мои открылись и увидели свет. Сёстры говорят... они говорят вздор. Говорю тебе и свидетельствую, что я был мёртв и учитель вызвал меня из царства смерти.

М а р ф а (*соглашается*). Да. Иешуа очень помог нам.

И о а н н. Чудо! Действительно чудо! Вот опять новое чудо!

Л а з а р ь. Как же не чудо. Вчера Ханан встретил меня и даже остановился от удивления. Лазарь, говорит: — ты здоров? Я говорю: да, учитель, здоров; я был мёртв и Иешуа воскресил меня.

М а р ф а (*с неудовольствием*). Правду говорят: праздный язык хуже злого соседа. Под вечер сюда пришли священники, целая толпа. Теперь перед всеми соседями стыдно. Все они спрашивали нас, как заболел и как выздоровел Лазарь, действительно ли он был мёртв и правда ли что Иешуа воскресил его... Мы с Марией рассказали всё, как было дело.

Л а з а р ь (*гневно*). Но разве вы сами не говорили, что, когда Иешуа пришёл и лежал без движения как палка.

М а р ф а. Правда. Иешуа целый час возился с тобою. Он показывал нам, куда прикладывать свежий коровий помёт, как растирать тебя.

И о а н н. Да, это и я всё видел. Ты был как труп.

Л а з а р ь (*торжествующе сестре*). Ну, что.

М а р ф а (*смущённо пожимает плечами*). Не знаю. Но на другой день ты ещё до прихода Иешуа открыл глаза и попросил пить. Мы с сестрою заплакали от радости, напоили тебя, ты опять закрыл глаза и заснул. А потом пришёл Иешуа и разбудил тебя.

И о а н н. Что же сказали священники?

М а р ф а. Они сказали, что Лазарь был болен и выздоровел. И велели ему принести очистительную жертву.

И о а н н. А учителю они воздали хвалу?

Марфа смущённо молчит. Лазарь, нахмурившись, опускает голову. Иоанн угадывает их ответ.

И о а н н. Зависть и злоба омрачают их разум и закрывают им глаза.

М а р ф а. Иди, Лазарь, к огню. Здесь холодно. Вечерняя сырость тебе может повредить. А мне нужно приготовить горницу. Твои друзья скоро соберутся ужинать.

Л а з а р ь поднимается и уходит с Иоанном через дверь в глубине. Справа в ворота медленно входит возвратившийся Иешуа и, остановившись около плетёной изгородки с виноградом, погружается в печальную задумчивость.

Яркий свет луны заливает дворик и в дверях смешивается со светом светильников в горнице. Минута глубокого и полного уединения. События последних дней проходят перед мысленным взором Иешуа и он тоскливо сознаёт, что здесь в Иерусалиме дело пока проиграно. Вчера и сегодня он окончательно порвал с Храмом и победа не на его стороне. Как опозорен он был сегодня перед всем народом, когда священники привели растерзанную и уличённую его Марию. Марию блудницу. Враги кругом, довериться некому... Неужели он ошибся в своём призвании, неужели неправильно понял пророчества, или, может быть, пророки ошиблись, и Израиль больше никогда не воспрянет во славе Давида... Его ищут схватить, он это знает. Быть может сейчас, сию минуту в этот тихий дворик войдёт гневная толпа храмовых служителей и потащит его на позор и мучения. Бессознательно и тихо Иешуа начинает молиться. Тоска, энтузиазм и жажда жизни охватывают Иешуа и, не замечая того, он начинает молиться вслух.

Экстаз овладевает им и слова молитвы мало по малу вырываются с нарастающей силой страстного отчаяния.

Иешуа. Саваоф, Элои, Адонаи!.. Что же ты медлишь?.. Где ты Иегова? Смотри, я всё сделал, что ты велел и заповедал мне. По слову твоему я пришёл сюда, чтобы изгнать зло и неправду. Тяжёлую ношу возложил ты на меня, но я несу её безропотно. Враги окружают меня... они ищут взять душу мою. Я падаю... Отец мой, неужели ты покинул твоего сына... Спешу, спешу, Адонаи, ибо ты сам видишь и знаешь, — час настал... О, Адонаи, добрый и всемогущий отец мой.

Мария (*сходит по ступенькам, прислушивается и испуганно окликает*). Иешуа?

Иешуа (*очнувшись и вздрагивая от неожиданности*). Кто там?

После нервного пароксизма он делается вялым и почти апатичным. Заметив скамью, он садится и Мария подходит к нему.

Мария. Это я, Иешуа. Я искала тебя... Мне страшно.

Иешуа. Иди сюда. Не бойся.

Мария (*боязливо подходит*). Мне страшно, Иешуа. Мне показалось, что ты говоришь заклинания.

Иешуа. Я молился. (*Обнимает Марию и привлекает к себе*).

Мария (*ласково и вкрадчиво*). Ты как будто сейчас говорил: Адонаи, отец мой... Иешуа, я боюсь за тебя. Прости мне, глупой женщине.

Иешуа (*с внезапной сердечностью*). Не бойся, Мария. Да, я действительно молился: Адонаи, отец мой.

Мария (*испуганно и укоризненно*). Зачем ты говоришь так?

Иешуа. Я говорил так, потому что это действительно так.

Мария (*почти с ужасом*). Но как, почему, откуда ты взял это?

Иешуа (*с горечью*). И ты сомневаешься во мне, Мария... Так вот, я скажу тебе всё, чтобы ты не сомневалась больше. Слушай, Мария, я и сам не знал этого, и узнал недавно. Когда раньше Симон-Камень, Иоанн называли меня Мес-

сией, я запрещал им это как богохульство... Это было там, в Назарете. Старик Иосиф, которого я считал своим отцом, рассердился на что-то и начал упрекать меня за то, что я ничего не делаю, а только путешествую с моими друзьями... Я отвечал ему. Старик сердился всё больше и больше.

Марфа (*выглядывая из дверей*). Мария, иди же помоги мне. Ты видишь, что я одна хлопочу.

Мария (*не трогаясь с места и нетерпеливо*). Сейчас!

Иешуа (*продолжает*). В конце концов, мы поссорились. Он начал грубо браниться. Я говорю ему: — отец, успокойся довольно. И вдруг, он говорит мне — какой я тебе отец. Ты мне не сын и я тебе не отец. Вот мои дети — Иаков, Иосия. Тогда я спросил его, чей же я сын. Он гневно ответил мне: пойдй, спроси у матери твоей, чей ты сын... (*Тяжело дыша, под гнѐтом воспоминаний*). Дальше я не слышал, что он говорил. Я сделался как пьяный. Я думал только о том, что я сын блуда. Как только, рассудок не оставил меня тогда...

Марфа (*нетерпеливо из горницы*). Мария!

Мария. Сейчас! Продолжай, Иешуа, продолжай.

Иешуа. Я бросился к матери. Я нашѐл её в доме. Она стояла на коленях около раскрытого сундука и разбирала вещи. Когда я вошѐл, она взглянула на меня и побледнела. Тогда я спросил её: чей я сын? Она наклонила голову в сундук и ничего не отвечала... Знаешь, что я сделал тогда. Я прихлопнул крышкой сундука ей шею и поклялся, что задушу её крышкой и оторву ей голову, если она не скажет мне всю правду... И она сказала мне... Она открыла мне свою великую тайну, что я... сын бога.

Мария (*в ужасе закрывает лицо руками и падает к ногам Иешуа*). Господин...

Иешуа. Она клялась страшными клятвами и, быть может, я не поверил бы ей, но я не мог не поверить свидетельству пророка, у которого сказано: вот девушка зачнѐт и родит сына. Двое свидетелей. Она плакала и рассказала мне, как за месяц до брака её с Иосифом к ней явился посланный и предсказал, что она родит сына и он будет, слышишь ли Мария, велик между сынами Израиля. Этот сын — я.

Марфа (*показывается в дверях, отыскивая глазами Марию*). Мария, придёшь ли ты, наконец?!

Иешуа (*раздражённо*). Марфа, Марфа, что тебе надо?

В ворота входит Матфей, за ним Фома и, немного спустя, Иуда.

Марфа (*смутившись*). Иешуа, прикажи ей помочь мне. Не могу же я одна разорваться. Сейчас соберутся твои друзья, а ужин ещё не готов.

Иешуа (*раздражённо*). Суетная женщина, совсем не о том ты хлопочешь, что нужно. Как будто твой ужин спасение для всего мира. Мария предпочитает нечто лучшее, чем твой кухонный очаг и благо ей.

Мария. Не сердись Иешуа. Правда, надо помочь ей. Вон уже сходятся твои друзья. Я пойду. Я ещё приду к тебе.

Мария быстро встаёт, украдкой обнимает Иешуа и уходит в дом, куда перед нею вошёл Фома.

Матфей подходит к Иешуа.

Матфей (*быстро и таинственно*). Учитель. Саддукеи ищут тебя схватить. Почему ты ещё не поразил их громом. И ещё знаешь, что... Бойся Иуду.

Иешуа. Почему?

Матфей. В нём бес. Он не верит в тебя. Он друг священникам. Когда мы шли сюда, один из них подошёл к нам. Он давал Иуде много денег, чтобы узнать, где ты. Он говорил о тебе дерзко. И знаешь, что сказал Иуда? (*Оглядывается*). Он должен был бы плюнуть в нечестивые уста хулителя. Ведь правда, да? Вместо этого он сказал, что испытает тебя.

Иешуа. Как испытает?

Матфей. Не знаю. Так и сказал: испытаю его.

Иешуа. И сказал где я?

Матфей (*почти с сожалением*). Нет, не сказал.

Иешуа. Хорошо. Иди.

Матфей, оглядываясь, входит в дом.

Иешуа остаётся на месте.

*Иуда, задержавшийся около ворот, оглядывается:
замечает Иешуа и подходит к нему.*

Иуда. Учитель?

Иешуа. Иуда?

Иуда. Я, учитель. Хорошо, что ты один. Мне надо говорить с тобою.

Иешуа (*холодно*). Говори, я слушаю.

Иуда. Горе нам. Священники ищут схватить тебя.

Иешуа. Знаю.

Иуда. Часа два тому назад, мы шли с Матфеем. Один из них подошёл к нам и спрашивал, где найти тебя. Он говорил, что хочет найти тебя, чтобы уверовать. Он предлагал целую пригоршню динариев в нашу казну, чтобы я сказал, где ты.

Иешуа. Что же ты?

Иуда. По глазам его я видел, что он лжёт и ответил ему: не знаю. Тогда он прямо начал говорить о тебе дерзко. И он говорил много. Мы спорили с ним долго. Они все против тебя: и фарисеи, и Хананы, и Воэфусимы, и Кафимы, и Канферы и Фоаби.

Оба умолкают. Иешуа, опустив голову, подпирает её руками. Иуда около него садится на корточки. Длительная печальная пауза. Из дома медленно выходит Фома, приближается и робко подсаживается на корточки около Иуды.

Иуда (*с внезапной тоской*). Учитель, печаль давит моё сердце... Дух мой возмущён.

Иешуа (*печально, не поднимая головы*). Чем?

Иуда (*тоскливо*). Вспомни, как торжественно мы вошли недавно в святой город. Галилеяне радостно кричали, окружая тебя. Ослица, на которой ты ехал, нам всем казалась, как трон Соломона. Весь народ иерусалимский смотрел на тебя. Мы все, и ученики твои и галилеяне, шедшие с нами, ждали. Мы были уверены, что, когда ты войдёшь в ворота города. — раскроется небо и оттуда будет знамение. О, если бы

в ту минуту ты дал знамение. Учитель, весь Иерусалим как один человек поднялся бы за тобою... Ты этого не сделал...

Иешуа (*печально*). Такова воля моего отца. Значит ещё не пришёл час.

Иуда (*почти грубо*). Когда же он придёт? Ведь другой такой минуты больше не будет!

Фома (*невольно соглашаясь*). Не будет.

Марфа и Мария постилают в горнице ковры и посуду с кушаньями и вином.

Иуда (*тоскливо и мрачно*). Вчера в Храме, когда на тебя заседали фарисеи, почему ты не дал им знамения... Учитель, пойми же, что фарисеи хотят уверовать в тебя, но без знамения от бога как они пойдут за тобой? Ведь собаки римляне перебьют нас в полдня, как перебили они Иуду Гавлониата... Ты разогнал торгующих саддукеев. Я видел, своими глазами я видел, как они растерялись и смутились. Это было страшно и великолепно. Я смотрел на небо и ждал знамения... (*угрюмо*) Его не было... Сегодня народ перед храмом просил у тебя знамения и было знамение... (*насмешливо*) саддукеи привели блудницу.

Иешуа (*гневно*). Довольно! Правду сказал Соломон: Иной пустослов языком своим уязвляет как мечом.

Иуда (*падая на колени*). Но он же говорит: а язык мудрых врачует. Так уврачуй же, молю тебя, мою душу. Страх и печаль бушуют в ней как зимние вихри в пустыне. Уврачуй мою душу, учитель. Изгони из неё сомнение. Мне тяжело!

Иешуа (*с ласковой печалью*). Ты сам, Иуда, не допускай сомнений в своё сердце. Что я скажу тебе? Чем уврачую тебя, когда у меня у самого душа скорбит смертельно. Ведь я же не знаю воли отца моего. Сам хожу в потёмках... Ты видишь, я сделал всё, что нужно... (*Помолчав, задумчиво*). И в Иерусалим я въехал на ослице, как сказано у пророка.

Иуда (*осенённый догадкой*). А может, надо было въехать на коне. И тогда было бы знамение.

Иешуа. Где же нам было взять коня... (*Говорит почти сам с собою*). В эти два года мы хорошо вспахали и подгото-

вили почву. Фарисеев мы разбили, мы уничтожили их; когда я начинаю говорить о фарисеях народ хохочет уже заранее. Осталась другая, самая опасная сила — саддукеи. И в эти дни мы разом разбили и саддукеев. Мы выгнали их из Храма... Чего же больше.

Иуда (*изумлённо осознаёт сущность момента*). Да Храм был в наших руках. Храм и, значит, весь народ.

Иешуа. И народ я чувствовал, готов был пойти за мною в ту минуту. Почему же он не поднялся?

Иуда. А римляне? Ты забыл о них, об этих страшных, вооружённых собаках. Они сбежались на шум и их вид пал на народ, как холодная вода на горячий камень.

Иешуа (*раздражённо*). Что значат римляне перед моим отцом. Одним кратчайшим дыханием своим он может во мгновение ока уничтожить весь Рим. И сколько, наконец, их, римлян, в Иерусалиме?

Иуда. Здесь их немного. (*Угрюмо.*) Но нет числа их братьям, там за морем. И они приходят скоро.

Пауза.

Иешуа. Ах, в эти дни всё чаще и чаще приходит мне на ум страшная догадка... Пророки говорят о Мессии торжествующем, но пророки говорят и о Мессии страдающем. Разве не сказано у Исаии: и к злодеям причтён будет. А вспомни, что сказано у Захарии: увидят пронзённого и будут рыдать о нём. (*оглядывается с ужасом*) Неужели всё это должно совершиться на мне.

Неловкое молчание. Иуда угрюмо поднимается и отходит.

Фома (*робко*). Симон-Зелот по секрету сказал нам, что завтра ты поднимешь народ и что надо готовить оружие.

Иешуа молчит.

Иуда. Если это будет без знамения с неба, то это будет простой бунт и римляне перебьют нас, как овец перед жертвенником.

Марфа, Мария и Лазарь выходят из дома.

Мария. Иешуа, мы уходим. Уже поздно и Лазарь чувствует себя не хорошо.

Марфа. Мы отведём Лазаря домой и сейчас же вернёмся.

Иешуа. Как Лазарь, ты не останешься с нами ужинать.

Лазарь. Прости Иешуа, не могу. Вечерняя сырость пронизывает мне кости. Ведь завтра ты будешь у меня.

Иешуа выходит на середину дворика и провожает за ворота Лазаря и его сестёр. Фома и Иуда остаются на месте.

Иуда. Сколько времени он говорит нам: скоро, скоро и ничего нет.

Фома. Нехорошо, Иуда. Ты осуждаешь учителя. Разве это можно.

Иуда. А разве можно затевать восстание и накликасть гибель на наши головы и на голову всего Израиля.

Фома (*сердито*). Не хочу тебя слушать. (*Встаёт*). Не смей осуждать учителя.

Иуда (*задумчиво, садясь на скамью*). Я ещё не осуждаю. Я только рассуждаю.

Фома. Твоё рассуждение, как вой злобного пса

Иуда, сверкнув глазами на Фому, ничего не отвечает.

Фома. И не хочу с тобой оставаться. Ты — грешник!

Иуда (*равнодушно и с презрением*). Уходи, глупец.

Иешуа, проводив Лазаря возвращается. В ворота вместе с ним входят гурьбой оба Симона, Иаков, Андрей, Филипп и ещё двое.

Симон - Камень. Эй, кто там?
Иуда. Я!
Иешуа. Идём, Иуда. Ужин готов.

Иуда неохотно поднимается и присоединяется к остальным. Некоторые входят в дом и затем в горницу, где совершают омовение. Среди двора остаются Иешуа, Симон-К. и Иаков.

Иешуа. Как прекрасен вечер. Как прекрасен мир. Как тихо кругом.

Симон - К. Тихо.

Иаков. Природа затаилась и ждёт твоего царства, учитель.

Симон - К. Скоро, скоро, Иаков.

Иаков. Когда ты будешь царём, Иешуа, ты дашь нам лучшие дома Иерусалима. Правда?

Иешуа. Всё, что вы захотите.

Иаков. О! Я возьму себе дом Иосифа Каиафы. Какой богатый дом. Можно учитель?

Симон - К. Что же тогда останется нам?

Иаков. Ищи, выбирай.

Симон - К. Из чего же выбирать, если лучше ты возьмишь себе.

Иешуа (*чтобы предотвратить начинающуюся ссору*). Взгляни, Симон, готов ли ужин.

Симон - К. Иду, иду... (*ворча уходит в дом*).

Иаков (*нежно и умоляюще*). Иешуа обещай мне дом Иосифа. Я больше ничего у тебя не попрошу.

Иешуа. У тебя будет сто домов и каждый из них будет в десять раз больше дома Иосифа.

Иаков (*ошеломлённый*). О, благодарю, благодарю тебя.

Симон-К. входит в горницу и обходит приготовленный на полу на коврах ужин. У переднего края он встречается с Иоанном и гневно отворачивается от него.

Иоанн. Симон, ты как будто не замечаешь меня?

Симон - К. Зато вы с братом хорошо всё замечаете!

И о а н н (*насторожившись*). Что значат твои слова?

С и м о н - К. А то, что сейчас не успел я моргнуть глазом, как твой брат уже выпросил себе дом первосвященника.

М а т ф е й. В новом царстве?

С и м о н - З. В царстве Иешуа?

С и м о н - К. (*раздражённо*). Да, конечно.

И о а н н. Тогда я возьму себе дворец Ирода.

С и м о н - З. А кто тебе даст его?

И о а н н. Иешуа. Если брату моему он дал дом Иосифа, то мне он не откажет дать дворец Ирода.

М а т ф е й. Что же нам останется?

Ф и л и п п. Эти ловкие братцы хотят начисто обобрать нас всех.

С и м о н - З. Если ты задумаешь взять дворец Ирода, то я за волосы вытащу тебя из него.

И о а н н. Мои рабы самого тебя выбросят за волосы.

М а т ф е й (*обиженно и вкрадчиво*). В самом деле, так нельзя. Надо делить по-братски и всем поровну. Такие дома как дворец Ирода надо разделить по жребью.

С и м о н - З. По жребью?

М а т ф е й. Конечно, по жребью!

С и м о н - З. Для того чтобы жребий упал какому-нибудь мытарю.

М а т ф е й (*вспыхнув*). Слушай, Симон. Ты уже третий раз сегодня колешь мне глаза моим мытарством. Оставь! Говорю тебе, что мытарь всё же почтеннее оборванца-кананита.

С и м о н - З. (*сверкая глазами*). Как бы там ни было, но я говорю прямо и имеющий уши да слышит. Дом Ирода я беру себе, и кто войдёт в него раньше меня тому я перережу горло, вырежу сердце и растопчу мозги.

И о а н н. Тьфу! Вот ученики господина моего. (*брату*) Разве это люди? Это стая злобных голодных шакалов.

С и м о н - К. (*тихо Иуде*). Пусть только он прогонит Хананов и Воефусимов. Пусть только наступит новое царство, а уж мы найдём настоящего царя, который не будет все милости отдавать одним сыновьям Зеведея.

Входят Иешуа и Иаков.

А н д р е й. Хорошо, что ты пришёл, учитель. Промедли ты ещё немного и здесь произошла бы драка.

И е ш у а. Почему? Кто кого обидел?

С и м о н - К. Братья Зеведеевы всех обижают. Один уже успел выпросить дом Каиафы.

С и м о н - З. А другой подбирается к дворцу Ирода.

М а т ф е й. Что же нам останется?

И е ш у а. Всем хватит. В новом Иерусалиме каждый из нас получит по сотне дворцов более лучших чем дворец Ирода.

И а к о в (*разочарованно*). Значит у меня будет меньше всех?

И е ш у а. Я сказал у всех. (*с лёгкой укоризной*) Иаков, чего же тебе ещё.

И а к о в (*поспешно*). Ничего господин, благодарю, благодарю тебя. Вы, может быть, думаете, что я жаден. Если так, то дом Каиафы я отдам кому угодно. С меня довольно того что обещал учитель. Возьми его ты, Иуда.

И у д а (*с иронией*). Благодарю и преклоняюсь перед твоим великодушием. Для того чтобы получить вола, ты отдаёшь овцу.

М а т ф е й. А скажи учитель, кто будет у тебя первосвященником?

И е ш у а. Тот, кого изберёт мой отец.

И а к о в. Никто кроме Иоанна. Никто, после учителя, не знает так священные книги, как он.

С и м о н - К. (*сквозь зубы*). Всюду, всюду братья Зеведеевы пролазят вперёд.

В ворота и затем в дом поспешно входит Марфа.

И е ш у а (*услыхав фразу Симона, качает головой*). Симон, Симон... и вы также друзья мои. Царство моё будет царством бесконечной радости и веселия, а вы несёте в него зависть и вражду. Не должно этого быть; много раз я вам говорил и ещё раз говорю, вот вам мой закон: любите друг друга, как я люблю вас всех. По этой любви вас всюду все, и я первый узнаю (*выразительно подчёркивая*). А кто из вас не будет

исполнять этот мой закон, тому никогда не будет места в моём царстве.

Матфей. Мы любим учитель, но иные из нас превозносятся и чванятся.

*Симон-К. подходит к умывальнику
и начинает мыть руки.*

Иешуа. Вот, смотрите все, как надо превозноситься и чваниться. Садись, Симон.

Симон-К., недоумеая, садится. Иешуа сбрасывает верхнюю одежду, берёт таз и наклоняется к ногам Симона-К.

Симон-К. (*вскакивая как ужаленный*). Не допущу, господин мой. Я должен вымыть тебе ноги, а не ты мне.

Иешуа (*строго*). Если не дашься Симон — нет тебе места в моём царстве.

Симон-К. (*с готовностью*). Если так, то и ноги, и руки, и голову.

Иешуа (*добродушно*). Вот как расходился. Хватит с тебя и ног... Готово. Подходите, друзья мои.

Все мнутя.

Матфей. Я уже омылся.

Симон-З. Я тоже.

Голоса. И я, и я. Я тоже.

Иешуа (*с весёлой недоверчивостью*). Иаков, когда же ты успел.

Иаков сконфуженно отворачивается.

Иешуа. Иди, садись (*Иаков садится*). Видите, если даже я так делаю, то как же вы должны поступать.

Симон-К. (*с восхищением*). Ты велик, Иешу, и нет тебе равного.

Иешуа (*моет ноги Иакову*). Как ты запыхался, Иаков. Вот видите теперь, как надо превозноситься. Видите теперь, как надо чваниться.

Г о л о с а. Видим, видим... Прости нас, учитель.

И о а н н (*пылко*). Клянусь тебе до конца дней моих буду делать так, как ты научил нас сейчас.

Иешуа. Благо тебе и за это садись около меня.

Марфа входит и хлопчет около посуды.

Иешуа. А ты Марфа прости меня. Сама знаешь за что.

Марфа (*радостно*). Полно тебе Иешуа. Ты господи мой и всякое твоё слово для меня как мёд и хорошее и плохое. А по глупости своей я хорошего и не стою.

*Иешуа вытирает ноги Иакову, склонившись около него; в это время в горницу входит Мария с маленьким кувшином в руках, на мгновение она остаётся неподвижной, с изумлением глядя на Иешуа, затем подходит к нему и быстро выливает ему на голову из кувшина нардовое масло. Иешуа от неожиданности быстро выпрямляется; жидкость стекает с волос его и капает на ноги и на пол. Мария опускается на колени и бережно собирает пальцами с пола ароматную жидкость и мажет ею себе голову
Иуда дрожит от ревности.*

Иешуа (*растроганный*). О, Мария!

С и м о н - К. Какое благоухание!

С и м о н - З. Что за запах?

М а т ф е й. Это нард, друзья мои. Драгоценный нард. Чистый нард.

И о а н н. Нард, которым мажут только головы царей.

Ф о м а. О, радость. Так значит, наш царь уже помазан.

А н д р е й (*восторженно и многозначительно*). Скоро, скоро, скоро.

Мария (*весело и сконфуженно*). Я берегла его к моей свадьбе. Но так лучше (*бросает и разбивает кувшин*).

Иуда (*голосом, изменившимся от ревности*). Если этот кувшин был полон, то здесь около фунта. Зачем? Лучше было бы продать его, а деньги нам пригодились бы для бедных.

Иешуа (*с досадой*). Бедных ты всегда будешь иметь, Иуда, об этом не беспокойся. А меня... меня ты недолго будешь иметь с собою... Садитесь, садитесь друзья мои. Благодарю тебя Мария. Ты получишь за этот нарד в сто раз больше, а жениха, жениха я обещаю тебе самого лучшего.

*Фома, оба Симона, Иаков и другие, сгрудившись в углу, собирают с пола капли нарда и мажут себе головы, весёлый гул голосов смех и возгласы.
Иешуа и Иоанн остаются у авансены.*

Иоанн (*быстро и тревожно*). Что это значит? Ты говоришь, что тебя мы недолго будем иметь.

Иешуа. Ты знаешь, Иоанн, как я люблю тебя и поэтому от тебя я не скрою. Если этой ночью или завтра мой отец не даст мне помощи или знамение, надо бежать. Саддукеи ищут схватить меня... А быть может, удастся завтра поднять народ. Тс... Будь осторожен. Среди нас, я боюсь, есть один не надёжный.

Подходит Симон-К. Иешуа отходит, к ковру и ложится на пол, поправляя под локтем круглую подушку.

Иоанн (*тихо Симону-К.*). Будь осторожен. Иешуа говорит, что среди нас один предатель.

Иешуа. Иоанн, иди ко мне. Садись здесь.

Иоанн ложится около Иешуа, ниже его, а к Симону-К. подходит Иуда.

Иуда. Идём, Симон; мы не избранники. Нам место в дальнем конце.

Симон-К. Будь осторожен Иуда. Иешуа сказал, что среди нас один предатель.

Иуда (*вздрагивает как ужасенный*). Да?! Кто же это?

С и м о н - К. Не знаю. Идём.

Все располагаются на полу. Несколько секунд слышно только звяканье посуды. Иешуа берёт кусок хлеба, разламывает его и раздаёт.

И е ш у а. Берите друзья моё тело и ешьте его... Ах, скоро оно, может быть, будет также изломано за вас или... или следующий раз я буду пить это вино с вами уже в новом царстве. Хорошее вино. И до тех пор, пока оно не наступит, больше не буду пить вина. А пока, Иоанн налей ещё. Час близок.

С и м о н - К. *(радостно)*. Близок?

И о а н н. Скорее бы. Мы заждались.

И е ш у а *(многозначительно)*. Заждались, говоришь. Царство само не даётся Иоанн. Тебе лучше всех надлежит это знать. Подходит решительный день.

Некоторые испуганно переглядываются, другие радостно настораживаются.

И а к о в. Что же нам надо делать?

Ф и л и п п *(робко)*. Скажи господин, мы сделаем всё, что ты прикажешь.

И е ш у а *(помолчав)*. Обманывал когда-либо я вас?

Г о л о с а. Нет, нет. Никогда,

И е ш у а. А теперь я говорю вам: продай всё, продай одежду свою и купи меч. Царство берётся силой. Завтра вам будет много работы.

Глубокое испуганное молчание.

С и м о н - З. За этим дело не станет. Это мы сумеем.

С и м о н - К. Здесь уже есть два хороших меча. Мы достали.

И е ш у а *(пожав плечами)*. Ну, что же, довольно.

Матфей (*нерешительно*). Зачем же нам мечи, господин? Ведь у Саваофа есть сотни легионов воинов. Они сделают всё что нужно. А мы, какие же мы воины?

Неловкая пауза.

Иешуа (*с невольною горечью*). И вот мои лучшие друзья. Мои избранные. На кого же я могу положиться. Кому я могу верить.

Симон-К. (*пылко*) Я, учитель. Пусть эти трусы прячутся в норы. Я пойду с тобой на всё. И в темницу, и на смерть.

Иешуа (*махнув рукой*). На словах, а в трудную минуту ты первый отречёшься от меня... Ах, быть может, даже сегодня кто-нибудь из вас предаст меня.

Симон-К. (*обиженно*) Не отступлюсь учитель! (*берёт кусок хлеба и с горячностью ломает его*) Вот, как ломаю я этот хлеб, так пусть всевышний переломит и сокрушит мою душу, если я отступлю от тебя.

Иоанн (*с горячностью*). Вот, и я клянусь тебе!

Голоса. И я, и я!

Иешуа. А ты Иуда?

Иуда (*угрюмо*). Я нет.

Иешуа. Почему же?

Иуда (*ещё более угрюмо*). Ты знаешь почему. Я не пойду и не допущу этих неразумных галилеян сделать бессмысленный бунт, пока не будет знамения.

Иешуа (*вздрагнув*). Так... Я знал, что среди нас один предатель.

Иуда (*вскакивая и дрожа от гнева*). Не называй меня предателем. Я не предатель!

Иешуа. Иди. Делай своё дело.

Иуда (*дико озираясь*). Если ты хочешь, пусть будет так. Я пойду и пусть нас рассудит Синедрион. Он справедлив. Он заставит тебя дать знамение и доказать твои слова. Довольно намёков и притч. Мы сыты ими по горло. Я иду в Синедрион и мы узнаем, наконец, прямо и без увёрток, действительно ли ты пророк божий или обманщик.

Быстро уходит. Общее ошеломлённое молчание.

Иешуа (*поднимается бледный*). Так... Не смущайтесь... Это так и должно быть. Вы видите, что сбывается всё сказанное обо мне. Чаша мерзости человеческой должна наполниться до краёв. Вы помните, сколько раз я говорил вам, что мне придётся пострадать здесь от Синедриона. Пророки всё предсказали. Вот, вы видите сейчас, на ваших глазах, сбылось то, что сказано у Давила: евший со мною хлеб, поднял из меня свою пяту... Скоро, скоро, скоро я буду отдан на казнь, на мучения... за вас, для вашего счастья.

Симон - К. (*с ужасом и тоской*). Господин мой, отврати это от себя. Не надо этого.

Иешуа (*гневно с блуждающим взглядом*). Замолчи, сатана. Уйди от меня. Волю отца моего — бога — никто не смеет нарушить... Не бойтесь. Если даже я и умру, если меня убьют, то мой отец воскресит меня тотчас же, и вы ещё не успеете дойти домой, как я со славой приду на облаках судить моих убийц.

Иоанн. Иешуа, они придут сейчас.

Иешуа (*очнувшись*). Сейчас. Так скоро... Не может быть, мой отец не допустит. Ведь страшно... Душа содрогается и плачет кровавыми слезами... Только бы спрятаться до завтра. Днём в народе они не посмеют тронуть меня, а если посмеют, то мы поднимем народ... Бежим. Бежим, скорее...

Симон - К. Мы спрячемся в Гефсимании.

Иоанн. Там не найдут нас.

Все поспешно уходят.

ЗАНАВЕС

III-й акт

«Горе мне от дома Хананова! Горе от их шипения змеино!»

Талмуд. Песахим

Внутренность двора в доме Иосифа Каиафы. На переднем плане навес, под которым уходит в глубину мощёный двор. Справа часть стены с воротами. Слева узкий двухэтажный фронтон дома, по наружной стене которого к самой авансцене и дальше вниз спускается каменная лестница.

Ранний рассвет 14 ниссена.

Группа воинов и рабов выжидательно стоит внизу у авансцены слева, у некоторых факелы. Сверху по лестнице спускается Сабин, его провожают Иосиф и Александр.

И о с и ф. Сюда почтенный трибун.

С а б и н. Здесь темно, как в закупоренном кувшине с чёрным вином... Ик... Эй, кто там!

Воины с факелами приближаются и освещают лестницу.

С а б и н. Теперь хорошо. Но эти ступеньки; почему они прыгают?

И о с и ф. Это только так кажется от мигания факелов.

С а б и н. Ты шутишь почтенный Иосиф. Это от твоего вина.

И о с и ф. Я рад если оно пришлось тебе по вкусу.

С а б и н. Здесь можно. Здесь не Рим... Ик... Иосиф, ты хороший человек. Давай spoём. Твои иудеи будут слушать нас... с удовольствием. Мы расшевелим их.

В о и н (*приближаясь*). Благородный трибун, твоё приказание исполнено. Преступник пойман.

С а б и н. Знаю. Есть убитые или раненые?

В о и н. Нет. Преступник сдался без сопротивления.

С а б и н. Очень хорошо. Поддержи меня... Я, вероятно, простудил ноги.

И о с и ф. Придерживайся за стену, благородный трибун.

С а б и н (*обидчиво*). Что же ты думаешь что я... Ик... не смогу (*теряет равновесие и едва не падает*) упасть и сам без стены.

И о с и ф (*любезно улыбаясь*). Ты всё можешь, но вино мешает тебе.

С а б и н. О, Иосиф, твоё вино... если за каждого иудея ты будешь угощать меня таким вином, я переловлю тебе всех иудеев и даже твоего бога.

И о с и ф (*строго*). Тс... не богохульствуй почтенный трибун.

С а б и н (*беспечно*). Ах, Иосиф, вы иудеи, ик... прекрасный народ, но вы без конца возитесь с вашим богом. Это ваш недостаток. Всё равно я поймаю его, как только он прыгнет на землю. Моё слово неизменно. Конечно, это не хорошо, что я послал воинов, нельзя даже, но для тебя я готов сделать всё.

И о с и ф. Благодарю тебя, добрый трибун.

С а б и н. Не благодари за такой пустяк... Если нужно, ик... проклятая икота. Если нужно я переловлю тебе всех твоих недругов... потому, что ты хороший человек, Иосиф... Мы с тобою будем плясать танец вакханок... Вот так... (*неловко делает несколько фигур танца, едва не падает и внезапно гневно смотрит на одного из рабов*). Животное, ты смеёшься?..

Р а б (*испуганно*). Я радуюсь, господин, потому что вижу тебя весёлым.

С а б и н (*с силой ударив раба по лицу*). Ты должен радоваться только тогда, когда я тебе это прикажу... Будь здоров, почтенный Иосиф... Воины, в преторию!

Сходит с воинами вниз и исчезает.

А л е к с а н д р (*с презрением*). И эти собаки хотят, чтобы мы любили их.

И о с и ф (*строго и выразительно*). Эти собаки превосходно охраняют порядок и наше достояние. Идём. Обманщица привели.

Голос Сабина (*снизу*). Стойте. Отойдите немного! Я кажется лопну... Ох, это иудейское вино.

Под навес входят фарисеи и саддукеи.

Фарисеи располагаются налево, саддукеи отдельно вправо.

Среди последних Ионафан и Измаил.

1 - й ф а р и с е й (*разводя руками*). Разве мы плохо к нему относились. Разве в первый его приход сюда мы не отнесли к нему и приветливо и ласково и почтительно.

2 - й ф а р и с е й. Я помню, устроил для него пир. Он пришёл ко мне, пил, ел и меня же в моём доме начал оскорблять.

3 - й ф а р и с е й. Только на нас он и нападал.

1 - й ф а р и с е й (*указывая на саддукеев*). Их он не трогал.

2 - й ф а р и с е й (*с усмешкой*). Ещё бы. Он знал что, если он их заденет, так они сразу его раздавят.

3 - й ф а р и с е й. А разве они чище или праведнее нас?

1 - й ф а р и с е й (*махнув рукою*). Что говорить. В особенности Ионафан.

2 - й ф а р и с е й. Как бы ни было, мне жалко его.

3 - й ф а р и с е й. Ещё бы не жалко, но ведь тех, кого он тащит за собою тоже жалко. И вдов, и сирот, которые останутся после них тоже жалко.

2 - й ф а р и с е й. О горе, горе!

1 - й ф а р и с е й. Ну что же. Вот сейчас Синедрион обличит его. Пусть он раскается и идёт с миром.

3 - й ф а р и с е й (*как эхо*). И пусть идёт. Зачем он нам?

Под навес входит Накдимон.

Присутствующие с уважением оборачиваются к нему.

Накдимон (*обводя всех испытующим взглядом*). Израиль, ну, а что если он действительно пророк божий?

Все сходятся в общую группу.

Ионафан (*запальчиво*). Разве может быть пророк из Галилеи.

Накдимон. Не был — не значит не может быть.

Измаил. Укажите мне хотя бы одного порядочного, образованного человека, который уверовал в него. Одна только грязная подлая чернь, невежественная в законе слушает его.

Ионафан. Если бы он только называл себя пророком. Кто из нас тронул бы его? (*общий одобрительный гул голов*).

2-й фарисей. Когда он называл себя только пророком, мы с уважением относились к нему.

3-й фарисей. В прошлом году, когда Антипа начал следить за ним, мы посылали к нему предупредить об опасности.

1-й фарисей. Мы указывали ему куда лучше всего скрыться от гнева тетрарха.

Накдимон. Я сам много раз приходил слушать его.

Ионафан. Но ведь он называет себя (*понижает голос до шёпота*) сыном того, чьё имя нельзя произносить.

Накдимон (*обескураженный*). Я слышал его много раз, но этого безумного кощунства он не говорил при мне никогда.

Голоса (*торжествующе*). Говорил! Говорил! Есть свидетели!

Накдимон (*сконфуженно и растерянно*). Что же. Я как вы.

1-й фарисей. Моисей говорит: пророка из среды твоей, из братьев твоих, как меня поднимет тебе господин бог твой. Его слушайте. Но если это будет лже-пророк, то его предсказания сбываться не будут. Такого предайте смерти. Он сказал, что через три дня разрушит Храм, а вот Храм стоит.

2-й фарисей. Исайя говорит: появится знамение божие и увидят его все. И ещё говорит он: вот повелитель идёт с силою и рука его с властью... А этот окружён одними обורванцами.

1-й фарисей. Он же ещё говорит: произойдёт отрасль из корня Иессеева... А этот галилеянин.

2-й фарисей. Михей говорит, что Мессия должен быть родом из Вифлеема иудейского.

3-й фарисей. Даниил говорит, что на облаках должен прийти судья и царь видом, как человек.

4-й фарисей (*поспешно*). Также и Иоиль говорит: солнце превратится в тьму, а луна в кровь прежде чем наступит этот день. И в Иерусалиме, только в Иерусалиме будет спасение.

5-й фарисей А Малахия говорит, что перед ним должен прийти Илия.

Ионафан. Когда Мессия должен будет прийти в Иерусалим, с неба будут знамения, великие и страшные.

5-й фарисей. У пророков ясно сказано: должны померкнуть солнце и луна, а звёзды, как спелые смоквы, должны падать на землю.

*Под навес молча входит и садится Каиафа.
Все почтительно расступаются перед ним.*

Ионафан. Он должен быть праведным, чистым, непорочным и беспощадным к язычникам и грешникам.

Измаил (*с гневным глумлением*). Таков ли этот обманщик, называющий себя Мессией?.. Мессия, нарушающий субботу! Мессия, пьянствующий с грешниками! Мессия, окружённый блудницами и язычниками! Мессия, позорящий самых лучших и самых праведных граждан!

Голоса. Горе нам!

1-й фарисей (*печально с сожалением*). Безумец.

2-й фарисей. В нём сатана. И, вероятно, за грехи родителей.

Ионафан. Несомненно! Ну, что суббота. Я готов сказать даже, что это пустяки. Предания старцев — вздор.

2-й фарисей (*запальчиво*). Предания старцев не вздор!

Ионафан (*примирительно*). Хорошо, не будем спорить... Но восстание, которое затевает его шайка, это не вздор, это гибель Израилю.

Александр. Римляне, хотя и собаки, но они уважают наши святыни, уважают Храм и закон. Значит с ними надо жить в мире, надо не раздражать их и не давать им повода обвинять нас в измене.

Измаил. С римлянами можно жить, пока придёт настоящий Мессия. Даже сам Корнелий Сабин только на прошлой неделе выдал нам голову на казнь воина, который в пьяном виде забрался в Храм.

Ионафан (*укоризненно*). И ты же Накдимон придумал способ спасти этого святотатца.

Накдимон (*сурово и убеждённо*). Когда мне удаётся спасти человека это лучший праздник для моей совести. Всегда.

1-й фарисей. Да, о восстании я слышал.

Ионафан. Пойдите утром по окраинам города, прислушайтесь в Храме. Кананиты носятся и жужжат, как расшвирепевшие осы. Галилеяне тайком скупают оружие.

Измаил. Мне не удалось узнать точно, но чуть ли не завтра ночью галилеяне хотят поднять восстание.

3-й фарисей. Горе нам: надо спешить.

Голоса (*единодушно*). Надо спешить, надо спешить.

Входит Ханан, сумрачный и усталый.

Все умолкают и смотрят на него вопросительно.

Ханан (*разводит руками*). Целый час я допрашивал его и он молчит как камень. Сейчас обличим его все... Его ведут сюда.

Накдимон (*торжественно*). Вот что скажу я. Если это дело от бога, то вы ничего с ним не поделаете, если же это безумная человеческая затея, то она разрушится сама собой.

Ионафан (*отцу вполголоса*). Накдимон днём очень умный фарисей, но рано утром его ум ещё спит. (*Громко, подходя к Накдимону*). Да, но пока оно разрушится само, оно успеет обрушиться на нас всеми последствиями своего безумия и успеет разрушить половину Израиля.

Накдимон разводит руками. У ворот шум и говор.

Входят толпою члены Синедриона и садятся на скамьях на переднем плане.

Г о л о с а (в глубине). Идёт! Ведут!

К а и а ф а (занимает председательское место в центре). Жалко безумца, но если он будет упорствовать, то опять скажу то, что говорил и раньше, лучше одному погибнуть, нежели всему народу.

Накдимон и Ханан занимают места по бокам Каиафы, два стражника вводят на середину связанного Иешуа.

Г о л о с Иуды (у ворот). Иоанн, иди же и ты. Ты любишь его. Ты должен сказать в его оправдание всё что знаешь.

Н а к д и м о н. Развяжите его; ничто не должно препятствовать человеку оправдаться перед людьми.

К а и а ф а (стражникам). Развяжите его.

Стражники развязывают руки Иешуа. Священники, саддукеи наполняют всё пространство под навесом.

К а и а ф а. Иешуа Ганоцри! Вот перед лицом Синедриона скажи нам кто ты. (Иешуа молча бросает на него равнодушный взгляд). Где твои товарищи, где твои ученики? Почему никого из них нет здесь, чтобы свидетельствовать о тебе?

Общее напряжённое молчание, среди которого неожиданно раздаётся из глубины двора голос Симона-К.

Г о л о с С и м о н а - К. Клянусь тебе, что я не знаю этого человека.

Иуда, который стоит в стороне, в этот момент встречается взглядом с Иешуа. Иуда насмешливо улыбается, а Иешуа с отвращением и стыдом низко опускает голову.

Стражник. Все его товарищи были с ним, когда мы поймали его. Но все они разбежались. Один из них ранил мечом твоего раба. Потом бросил меч и убежал. Мы не трогали их, потому что твой приказ был взять только его одного.

Каиафа. Итак, Иешуа, ты, видишь, никто не свидетельствует за тебя. Сорок дней, каждый день Синедрион вызывал свидетелей за тебя и никто не явился. Твои товарищи, твои ученики, которые видели, как тебя взяли и знали, для чего ты взят, вместо того, чтобы прийти сюда и защищать тебя, — разбежались.

Ханан. Убегает только тот, у кого нечиста совесть.

Каиафа (*возвышая голос*). Ещё раз спрашиваю всех: есть ли здесь кто, желающий свидетельствовать в пользу обвиняемого.

Общее напряжённое молчание.

Голос Симона-К. Говорю тебе и клянусь тебе, что не знаю этого человека.

Каиафа (*торжественно и ещё более повышая голос*). Ещё третий раз зову: кто может, кто хочет свидетельствовать в пользу этого человека, иди сюда.

Иуда (*угрюмо выдвигается*). Я свидетель его. Нет неправды на языке моем. Что знаю, что видел, то скажу.

Иешуа с отвращением отворачивается от Иуды.

Иуда угрюмо смотрит на него

Каиафа. Этот человек давно ходит по Иудее и учит народ... Учение его как бы ессейское, потому что он восстаёт против фарисеев, против преданий старцев и всячески оскорбляет их. Он и его ученики нарушали субботу и осуждали закон (*обищий ропот негодования*). Так ли я говорю?

Иешуа молчит.

Иуда. Не совсем так учитель. Он учил, что скоро наступит обещанное пророками царство Мессии и что к нему надо подготовиться. Он учил как надо...

Ханан (*нетерпеливо перебивая Иуду*). Это не важно. Мы не трогали его тогда и не мешали ему.

Каифа. С прошлого года он через своих учеников начал распространять слухи о разных удивительных чудесах, которые он якобы совершил. (*к Иуде*) Скажи, были чудеса? Ты их видел.

Иуда. Нет. Я чудес не видал.

Каифа. Никаких?

Иуда. Никаких. Правда, его ученики, галилеяне, и до сего дня любят повторять сказку о том, как он с помощью чуда насытил двумя или тремя хлебами и парой рыб толпу людей, но это неправда.

Каифа. Ты это видел?

Иуда. Да, видел.

Каифа. Расскажи, как было дело.

Иуда. Вы знаете, учителя, как глупы и хитры галилеяне. Дело было под вечер, народ слушал его. И вот Филипп говорит: надо накормить народ. А у нас ничего не было. Спрашиваем народ: есть у вас пища. Конечно, сейчас же все навострили уши: а ну-ка, чем нас накормит учитель; если спрашивают, значит, у него есть кое-что в запасе. Сейчас же передние давай хныкать: нет, учитель у нас ничего нет, мы голодные. А у каждого за пазухой торчал и кусок хлеба, и рыба, и смоквы сухие. Неловко стало всем нам: стыдно. Народ мнётся и хнычет: ничего у нас нет, учитель, ничего... Мы голодные... Наконец какой-то мальчик не выдержал и говорит: вот у меня два хлеба и две рыбы. Ну, давай твои хлеба и рыбы. Он (*указывает на Иешуа*) взял их и начал разламывать на маленькие кусочки, вот такие, и начал раздавать народу... Тут хитрецы увидели, что от нас немного попользуешься, расселись на землю и давай потихоньку тащить из пазух всё, что там было припрятано. Он дал всем, какое всем, кто взял, а кто не взял, — по лоту, да каждый от себя потихоньку прибавил фунта по два, ну, все и оказались сыты. А потом, конечно, стыдно им стало и давай тащить к нам объедки, и каждый притворяется

удивлённым, как же им сознаться, что они лгали, когда говорили — нет, у нас ничего нет, — говорят: вот, учитель возьми, это осталось от твоего кусочка. Потому что видят, что сам он и мы все голодные остались. (*Кое-где сдержанный добродушный смех*). Вот и всё чудо.

К а и а ф а. И больше никаких чудес не было.

И у д а. Иногда он хорошо исцелял бесноватых... Вот, например, эту самую Марию, которую вчера поймали с язычником, Марию из Магдалы... Он выгнал из неё беса, а она опять начала делать разные нехорошие вещи. Тогда он говорит: в ней ещё один бес. И выгнал его. А Мария ещё хуже начала вести себя. Тогда он сказал: в ней ещё один бес. И опять выгнал его. А она опять... И так до семи раз... (*Кое-где смех*). А теперь, значит, в ней остался ещё восьмой бес. А может быть в ней ещё штук сто бесов... (*Общий смех*).

К а и а ф а. И больше никаких чудес не было.

И у д а. Один раз он вылечил больного глазами.

Х а н а н (*пытливо*). Каким способом.

И у д а (*мнётся*). Он не велел нам говорить

Х а н а н (*нетерпеливо*). Мы приказываем тебе.

И у д а. Он и нам открыл этот секрет. Если болят глаза, нужно взять масло и смешать с соком куриной слепоты. Я сам пробовал много раз, очень помогает.

Х а н а н (*с жадным интересом*). А ещё. Ещё какие-либо способы он вам открывал.

И у д а (*неохотно*). Ещё научил нас. Масло из маковых семян, если болят зубы.

2 - й ф а р и с е й (*увлечённый и совсем забывшись*). Скажи, скажи, а если нога болит в этом месте. Вот когда меняется погода на дождь... Тогда что?

К а и а ф а (*спохватившись*). Довольно. Это не грех. Врачевание разрешается законом. (*почти добродушно*) Так это было, Иешуа? Отвечай нам.

Иешуа, отвернувшись, молчит.

К а и а ф а. Что же ты молчишь, Иешуа. Презираешь нас.
Х а н а н. Или так темна твоя совесть.

Иешуа молчит. Пауза.

Г о л о с а. Говори... Объясняй... Оправдывайся...

К а и а ф а. Кто скажет о нём.

1 - й ф а р и с е й. Он нарушал и осквернял святую субботу.

И з м а и л. Он всячески подстрекал чернь против богатых и уважаемых граждан. При всяком случае он старался настроить народ против властей.

К а и а ф а (*к Иуде*). Правда это?

И у д а (*разводя руками*). Да, правда.

К а и а ф а. Иешуа, ты слышишь. Что скажешь?

Иешуа молчит. Молчание его вызывает общее раздражение.

Г о л о с а (нетерпеливо). Чего молчишь, галилеянин... Отвечай... Оправдывайся...

К а и а ф а. Иешуа, вот люди свидетельствуют против тебя. Твои замыслы раскрыты. Сознайся. Раскайся. Откажись от своих безумств.

Иешуа молчит.

И о н а ф а н. Свидетельствую, что он соблазнял народ. Он обманщик. На празднике обновления Храма он объявил, что был ещё тогда, когда не было Авраама и что Авраам рад был бы увидеть и услышать его.

Общее возмущение. Гул голосов.

К а и а ф а. Иешуа, что ответишь?

Иешуа молчит.

Х а н а н. Что же он может ответить, когда это правда.

Г о л о с а. Обманщик, отвечай.

Измаил. Мы все слышали четыре дня тому назад он всенародно грозил, что через три дня разрушит Храм. (*Негодующе*). Разрушит Храм.

Голоса. Хуже язычников. Даже римляне так не кощунствуют. Побить его камнями.

Александр. Он водится с грешниками и язычниками и всем им обещает лучшие места, когда будет царём. Нам же он обещает рабство и Геену. Он затевает восстание и готовит нам всем гибель, как это было с Иудой Гавлонитом.

Голоса (*с нарастающим гневом*). Безумец... Обманщик... Бунтовщик...

Ханан (*торжествующе*). Слушайте, слушайте же меня что скажу вам... Он называет себя Мессией. Он называет себя сыном того, чьё имя нельзя произносить.

Все поражены. Общее безмолвие.

Каиафа (*почти умоляюще*). Иешуа, не молчи, скажи, что это неправда или если ты говорил это, то по безумию своему.

Общее напряжённое молчание.

Из глубины двора доносится голос Симона-К.

Голос Симона-К. Клянусь тебе, что не знаю его.

Каиафа (*торжественно встаёт и подходит к Иешуа*). Заклинаю тебя святым именем, заклинаю тебя жизнью, скажи, говорил ли ты, что ты Мессия, сын всемогущего.

Иешуа. Что вам нужно... Убивайте меня скорее; так надо, так должно произойти... (*повышает голос*). Вы убьёте меня, но я воскресну, и вы увидите меня, идущего по небесам на облаках во всей славе царской судить вас, слепцы... Вы не понимаете того, что мне должно пострадать, потому что так предсказано у пророков. Пророки не обманули... И теперь да совершится предсказанное... Да, я — Мессия, сын бога предвечного. Я — царь и судья ваш.

Каиафа (*с ужасом разрывает на себе одежду*). Он богохульствует!

*Накдимон, закрыв лицо руками, низко спускает голову.
Фарисеи робко протискиваются к выходу.
Иуда озирается, он ждёт знамения.*

Х а н а н. Чего же больше вам?

И о н а ф а н. Какое ещё свидетельство нужно.

К а и а ф а. Что скажете?

Г о л о с а (*единодушно*). Повинен смерти! Человек смерти!

К а и а ф а. Что же ещё нам делать с этим безумцем?

ЗАНАВЕС

IV-й акт

«Какое представится тогда грандиозное зрелище! Чему я буду радоваться? Чему смеяться? Чему восхищаться? Увижу врагов Христа, жарящихся на огне, увижу зрелище, которым невозможно насытиться, — зрелище мучений тех, кто издевался над Господом».

Тертуллиан

Атриум в претории. На заднем плане колоннада, а за нею возвышение с судейским креслом и двор.

Полдень 14 ниссена.

Ламия на кресле у авансцены читает письмо. Прочитав его, он берётся за толстый свиток и остаётся на этом месте до конца акта. Сабин в глубине разговаривает с Прокулой: он не выспался и украдкой зевает.

Прокула. Какие вести из Рима?

Ламия. Много интересного! Затевается поход на скифов. Старик болен; у него какая-то странная болезнь. Он лето будет проводить не на Капрее, а на серных водах и по этому случаю в Байях все заметались, как ошалелые, в смертельном страхе. Пока что он написал новую книгу по истории. Любопытно... Убийца Кремуция пишет историю...

Сабин (*с ужасом оглядывается*). Тсс!.. (*Не совсем искренно*). В смерти Корда божественный цезарь не виноват. Упрямец сам уморил себя голодом.

Ламия. Кто же верит этой сказке.

Прокула (*поспешно заминая щекотливую тему*). И больше ничего?

Ламия. Свирепствуют процессы об оскорблении величества...

Прокула. Право же это совсем не интересно. Ещё что?

Ламия. Пантомим Гилас ввёл моду золотить края сандалий.

Прокула (*подняв ногу, смотрит на сандалию*). А здесь, у этих дикарей, вероятно и мастера такого нет.

Сабин. Госпожа, к вечеру сегодняшнего дня твои сандалиии будут готовы.

Прокула (*очень довольная*). Благодарю тебя. Ещё что?

Ламия (*пробегая глазами письмо*). Зелёные победили на последних играх... Веллей Патеркул на Авентине около Аппиева водопровода, между Тибром и Большим цирком выстроил большой четырёхэтажный дом; поскорее, ещё не оконченный, набил его жильцами, а когда отделывали крышу — дом обвалился.

Сабин смеётся. Прокула улыбается.

Ламия. Но самое интересное то, что падая, дом Патеркула обвалил соседний, тоже доходный дом Сенеки. Убито около... ну, это не важно.

Сабин (*хохочет*). Я понимаю, что дом Сенеки был построен из риторических фигур больше, чем из кирпича и извести. Философам и риторам свойственна бережливость. Но Патеркул, Патеркул...

Ламия. Сенека предъявил иск к Патеркулу. Патеркул бросился к цезарю.

Прокула. Ах, милый Рим!

Сабин. Вот пойдут трепать языки. И родители, и пенаты, и карфагенские походы, в которых никто из них никогда не участвовал...

Прокула. Ты сказал к вечеру. Взгляни на солнце. Каждый миг оно укорачивает твой срок.

Сабин (*спохватившись*). Да, госпожа. И поэтому давай скорее твои сандалиии. Завтра у иудеев праздник и надо спешить.

Прокула. Идём, я дам их тебе.

Прокула и Сабин уходят налево. Ламия берётся за книгу. Пауза. Справа входит Понтий Пилат. Он сердит, озабочен и расстроен. Тяжёлыми шагами он начинает расхаживать взад и вперёд. Ламия сочувственным взглядом следит за ним.

Л а м и я (*сочувственно*). Что. Плохие вести?

П и л а т. Сегодняшнюю почту из Рима я предпочёл бы не получать... Люций Элий убит. Его задушили в тюрьме и бросили в Тибр. Макрон хозяйничает и расправляется с его друзьями... Ты понимаешь...

Л а м и я (*утвердительно кивает головою*). Мне тоже пишут, что Макрон теперь вполне занял место Сеяна.

П и л а т. Мне советуют осторожность. Советуют не раздражать туземцев и уважать их обычаи, религию и законы. (*Гневно*). Уважать дикие суеверия и нелепые предрассудки этих азиатов.

Л а м и я. Да. Но для правителя это необходимо.

П и л а т. Вздор! Для правителя необходима только сила. Сила спереди и сила сзади. И больше ничего. Сила спереди — мечи воинов, сила сзади — хорошая защита в Риме. Эту последнюю силу, с падением Сеяна, я потерял и моя песенка спета. Когда у правителя есть сильная защита в Риме — всё что он не сделает, всё хорошо, а когда на него косятся то, хотя бы его действиями руководили сами боги, всякий его поступок будет дурно истолкован. Ты застал моего предшественника Валерия Грата.

Л а м и я. Да. Он был очень добр к иудеям и хорошо ладил с ними.

П и л а т. Он ухаживал за ними как мать за своим ребёнком. И что же? Его обвинили в поисках популярности. Прошлой весной иудеи по какой-то причине расшумелись в своём храме. Я приказал воинам успокоить их; воины хорошо сделали своё дело, несколько крикунов были убиты около самого жертвенника, так что их кровь смешалась с кровью их жертв, и что же? Ничего — хотя, я знаю, иудеи целой толпой ездил жаловаться на меня и к Вителию, и в Рим. А теперь... теперь хотя бы я сделался самым лучшим в мире правителем, моё пребывание зависит от того, как скоро должность прокуратора Иудеи соблазнит кого-либо из фаворитов, увы, даже не Тиберия, а какого-либо отпущенника.

Л а м и я (*со вздохом*). Ах, если бы тебе можно было съездить в Рим. Ты сразу укрепил своё бы положение.

П и л а т. Рим предпочитает выслушивать сплетни и обвинения по адресу правителей, нежели их личные объяснения. Такова его система. *(помолчав)* Что же и правильная система. Не будь её — все правители сидели бы в Риме, а не в своих провинциях... Сегодня за завтраком будет соус из голубиных печёнок. Смотри не вздумай к завтраку уйти куда-либо.

Пауза.

Л а м и я *(лениво)*. Что за шум был здесь рано утром?

П и л а т *(с жестом раздражения)*. Иудеи!

Л а м и я. Что за дерзость ломиться в преторию, когда все ещё спят. Чего им. Опять с жалобой на наших воинов?

П и л а т. Нет. На этот раз они притащили ко мне какого-то оборванца и требовали, чтобы я его казнил за святотатство. Они кричали и требовали, чтобы я казнил, не зная в чём дело. Отвратительный народ. Злобные, упрямые, хитрые. Ненавижу их.

Л а м и я *(лениво)*. Ты что же, прогнал их?

П и л а т. Да, я сбыл их с рук. Так как обвиняемый родом из Галилеи, то я послал их к тетрарху Антиппе. Меня удивило и заставило быть осторожным то обстоятельство, что они привели своего единове́рца. Чуть ли не каждый день они приходят ко мне с разными назойливыми просьбами за своих; того прости, этого помилуй. К этому я привык. Но сегодня они притащили ко мне своего и просили, чтобы я казнил его. Это необычайно. И это заставило меня быть осторожным. Почему они сами не расправились с ним? Значит, чего-то боятся. Очень возможно, что этот оборванец — главарь какой-либо секты и его казнь может поднять восстание. Я просил Корнелия узнать, в чём дело.

Л а м и я. Он здесь.

П и л а т. Где же он?

Л а м и я. Он и благородная Клавдия сейчас в эту минуту насаждают в Иудее последнее слово Римской моды.

П и л а т. Эй, кто там.

Входит раб.

Пилат. Пойди к госпоже и скажи трибуну Корнелию, что я жду его...

Раб быстро уходит.

Пилат (*указывая на уходящего раба*). Взгляни на этого плута.

Ламия. И что же?

Пилат. Он живёт со своей матерью. Сегодня утром он просил у меня разрешения жениться на ней.

Ламия (*с равнодушным отвержением*). Но ведь она, наверное, старуха.

Пилат. Да. И это ему, следовательно, нравится.

Ламия. Что же ты?

Пилат. Позволил, конечно, и только поставил условие, чтобы были дети. Он обещал стараться... А какая же это новая мода?

Ламия. Позолоченные края у сандалий.

Пилат (*ворчливо*). Римляне уже не знают, куда девать своё золото. А откуда она узнала об этой моде.

Ламия. Вот из письма, которое я получил.

Пилат. Ага, тебе тоже есть письмо

Ламия. Да последние новости из Рима.

Пилат. Что, Макрон хозяйничает?

Ламия. Конечно; у тебя нет врагов среди его друзей?

Пилат (*нерешительно*). Кажется, нет.

Ламия. Во всяком случае, тебе надо быть осторожнее.

Пилат. Видят боги, что с осени прошлого года я осторожен до трусости. Но как ни будь осторожен, всё равно на этих азиатов не угодишь. Эти гнусные иудеи, если бы ими правил сам Юпитер, всё равно они вывели бы его из терпения.

Ламия. Не сердись дорогой Понтий, но мне кажется, что ты несколько несправедлив к иудеям. В жизни это часто бывает, что два раздражительных человека, едва взглянув друг на друга сразу и совершенно беспричинно делаются смертельными врагами, и начинают ненавидеть друг друга.

Конечно, моё сравнение неудачно, но нечто в этом роде произошло между тобой и иудеями Ты против них, а между тем этот народ заслуживает больше сожаления, нежели презрения. Как всякий народ, только что потерявший свою независимость, они очень чувствительны ко всему, что напоминает им об этом и ревниво держатся за последние остатки своей свободы.

Пилат. Вот эти-то остатки и надо вышибить из их упрямых голов.

Ламия (*задумчиво*). А для чего?

Пилат (*слегка озадаченный*). Как для чего. Странный вопрос. Для их же пользы. Чем скорее они сольются с Римом, тем скорее они воспользуются благами Римского гражданства.

Ламия (*пожав плечами*). Да, конечно... Но мне кажется, однако же, что в храм счастья никогда не надо человека тащить за волосы.

Пилат. Если так, то ребятам никогда не надо вливать силой в рот полынь, а надо спокойно давать умирать им от лихорадки.

Ламия. Ты очень остроумно, мой дорогой Понтий, пользуешься сравнениями и про себя, вероятно, сам же признаёшь их слабость. Лихорадка есть болезнь, смерть, зло, а полынь есть лекарство, жизнь, а, следовательно, добро. В выборе между жизнью и смертью не может быть двух мнений. Но политика совершенно другое дело. Мы с тобою, знающие историю, здесь наедине, не боясь никого, будем ли утверждать, что тот или иной государственный строй лучше или хуже.

Пилат (*уклончиво и махнув рукой*). Философская диалектика. Искусство софистов. Этим можно заниматься тебе, свободному человеку. Я же только Римский прокуратор и моё дело поддерживать величие и достоинство римских орлов.

Ламия (*с улыбкой*). Согласен и буду вполне удовлетворён, если ты признаешь вместе со мною, что истинная свобода тогда придёт на землю когда люди перестанут тащить друг друга за волосы в свои храмы счастья.

Пилат. Этого никогда не будет. Потому что доколе будет существовать мир — будут существовать умный и глу-

пый, сильный и слабый, а умный и сильный всегда будут управлять глупым и слабым.

Входят Прокула и Сабин.

Л а м и я. Если ты признаешь мои волосы, то и я признаю твою полынь и сойдемся на том, что напомним умному и сильному, как всякая мать, вливая ребёнку в рот полынью, разбавляет её мёдом.

П и л а т. Это другое дело. *(меняя тон)* Ну что, выбрали сандалиии?

С а б и н. Да. Вот они. Спешу к мастеру. Твоё поручение я исполнил. Хочешь выслушать доклад?

П и л а т. О чём это.

С а б и н. Об иудеях.

П и л а т *(с неудовольствием)*. А-а... Хорошо, говори.

С а б и н. Видишь ли, иудеи вбили себе в голову сумасбродную идею. Со времени Энея, отца нашего, они перепробовали всевозможные способы государственного устройства и так как никакой способ их не удовлетворил, то, чтобы не ломать голов над изобретением хорошей государственной системы, они свалили эту работу на своего бога.

П р о к у л а. Очень остроумно.

С а б и н. И вот они верят, что их бог, глядя на их политические неудачи и неумение найти хороший способ управления, в один счастливый день потеряет терпение и придёт царствовать сам, чтобы показать всему миру образец наилучшего управления.

Пилат смеётся. Ламия хохочет

Л а м и я. Это будет интересно!

П и л а т. Тиберий утвердит его из одного любопытства. Я сам буду хлопотать об этом.

С а б и н. Вы смеётесь. А иудеи совсем не смеются над этим. Они говорят об этом с расширенными глазами и понижая голос.

П р о к у л а. И скоро это будет?

С а б и н. В том то и дело, что этого никто из них точно не знает, хотя в последнее время они ждут его со дня на день. Эта ожидаемая реформа у них называется Мессией. Они тщательно прячут от нас, римлян, эту свою идею и разумеется, чем тщательнее они её прячут, тем лучше мы о ней знаем.

П и л а т. Не совсем так... Это же сказание я слышал иначе.

Л а м и я. Как же он придёт, этот иудейский бог?

С а б и н. Блистательно. Как в хорошей эллинской трагедии. Крылатые гении на разных трубах дадут с неба сигнал, небо раскроется и иудейский бог прыгнет оттуда на землю со своими ликторами, сенатом, и преторианцами, прямо сюда в Иерусалим. Дворцом его будет Храм.

П и л а т. Я слышал совсем иначе.

С а б и н. Вероятно, ты знаешь другую версию. Дело в том, что иудейские оракулы завирались и путали.

Л а м и я. Как все оракулы. *(Развёртывает свиток и погружается в чтение).*

С а б и н. Да. А поэтому есть две версии. По одной — иудейский бог придёт на землю, прогонит нас римлян и будет царствовать сам, а по другой версии — он поручит всё это своему легату из иудеев, по их выражению — пророку.

П и л а т. Вот эту версию я и знаю. Я знаю, что они ждут появления какого-то вожака, который должен поднять их на восстание и сделает их независимыми. Это впрочем, мечта всех азиатских народцев.

С а б и н *(раскрывая интригу)*. Так вот это человек, которого они привели к тебе на суд и есть этот самый легат или по крайней мере кандидат на эту должность.

П и л а т *(с удивлением)*. Что же это? Иудеи делаются такими верными подданными?

С а б и н. Не думаю. Дело объясняется проще. Этот человек — раввин из Галилеи; он занимается демагогией и потихоньку уверяет чернь, что он и есть этот самый легат иудейского бога. Но в то же время он ведёт себя, с точки зрения их нравов, очень предосудительно и они считают его не пророком, а обманщиком.

П и л а т. Предосудительно... Гм... Когда я допрашивал его, он плёл какую-то чепуху о новом царстве, населённом

стойками. Несомненно, это фанатик, маньяк, а может быть просто безумец. Во всяком случае, я вижу, он взбудоражил весь муравейник. Гм... Такие люди нам полезны. Рассеивая смуту, они помогают разделять и владеть. Не нужно только, конечно, спускать их с глаз и вовремя обрезать им крылья.

Л а м и я (*поднимая голову*). Среди окружающего изуверства, болезненных бредней, кровожадной нетерпимости, и отвратительного фанатизма, какую иронией и небесной мудростью звучат эти слова (*указывает на свиток*).

П и л а т. Что такое?

Л а м и я. Книга, которую я искал десять лет и которую мне, наконец, прислали из Рима.

П р о к у л а (*заглядывая через плечо*). Стихи. Вероятно, Вергилий.

Л а м и я. Нет, угадайте, я прочту вам маленький кусочек.

С а б и н. Это не наше воинское дело

Л а м и я. Так, вот, слушайте: (*читает*)

Очень боюсь я, о Меммий, мой друг, чтобы ты не подумал
Будто без веры в богов люди станут преступны и злобны.
Ты приглядишься и увидишь, что самые грубые зверства
Были всегда совершаемы в честь всевозможных богов.

П и л а т. Божественные стихи и дерзкий ум. Лукреций. Больше некому так написать.

Л а м и я. Да. Он.

С а б и н (*с отвращением*). Стихи и философия, не наше это воинское дело. Благородная Клавдия, я иду исполнять твоё приказание.

П р о к у л а. Скромную просьбу, а не приказание.

С а б и н. Просьба благородной Клавдии для меня равносильно приказанию.

П и л а т. Погоди. Я должен тебя поздравить. Сегодня получен приказ, тебя вызывают в Рим.

С а б и н. В Рим... О, радость. О, счастье.

Л а м и я. Да, ты счастливеец! Завидую тебе.

Пилат (*почти льстиво*). Надеюсь, добрый друг, что ты не забудешь нас и там, в Риме будешь помнить, что я всегда хорошо относился к тебе. Никогда твоё жалованье я не задерживал и всё что тебе...

*Со двора слышен гул голосов.
Из глубины входит сотник Петроний.*

Пилат. Что там такое?

Петроний. Благородный Понтий, иудеи просят тебя оказать правосудие.

Пилат (*подходит к колоннаде в глубине, смотрит во двор и быстро оборачивается*). Клянусь богами. Они опять притащили этого несчастного...

Ламия (*поднимая голову от свитка*). Кого?

Пилат. Этого, которого они приводили утром. Божественного легата.

Прокула. Понтий, смотри же, спаси этого несчастного. Несколько иудеек всё утро молили меня спасти его. Своими воплями они испортили мне весь сон.

Пилат. Хорошо, хорошо. Но, ради Вакха, скажи повару, чтобы в соус из голубиных печёнок он обязательно положил бы фисташек. Я совсем забыл об этом. А без фисташек этот соус ничего не стоит. И перцу, чтобы не очень много.

*Прокула добродушно улыбаясь, уходит направо.
Сабин уходит налево. Ламия остаётся со свитком на месте.
Пилат подходит к колоннаде.*

Пилат. Чего хотите вы, иудеи?

Голос Ионафана. Антиппа отослал нас к тебе. При тебе он не может предать никого на казнь без твоего разрешения.

Голос Измаила. Казни его! Он богохульник!

Голоса (*с нарастающим упрямством и озлоблением*). Казни его. Казни его.

Пилат. Иудеи, я говорил вам и опять повторяю: для того, чтобы казнить человека надо, чтобы за ним была вина, а

за этим человеком я не вижу никакой вины. Нарушение обрядов не есть преступление, а богом каждый из вас может себя называть, если есть охота, сколько угодно.

Г о л о с И о н а ф а н а. Ты не понял самого главного. Этот обманщик соблазняет народ, он называет себя царём.

Г о л о с а. Он мутит народ и затевает восстание. Он учит не платить подать цезарю. Он бунтовщик!

Г о л о с И з м а и л а (*азартно*). Это можно по-твоему?

П и л а т. Обвиняемый, ты слышишь, что говорят против тебя. Что скажешь?

Общее молчание.

П и л а т. Воины, приведите его сюда. Я допрошу его.

Гул несколько стихает, но не прекращается.

Петроний в сопровождении двух воинов вводит из глубины Иешуа. Ламия с любопытством поднимает голову.

Л а м и я. Может быть, у него действительно есть серьёзные права на место занимаемое Антиппой.

П и л а т (*приближаясь*). Посмотрим.

Воины подводят Иешуа.

П и л а т (воинам). Идите и оставьте нас.

Л а м и я. Уйти мне?

П и л а т. Нет останься, прошу тебя. (*к Иешуа*) Откуда ты.

Иешуа, опустив голову, молчит.

П и л а т (*с лёгким раздражением*). Чего же молчишь? Понимаешь ты, что я могу тебя и казнить и отпустить.

И е ш у а (*поднимает голову; взгляд его блуждает*). Ты ничего не мог бы мне сделать, если бы мой отец не допустил этого. Но если он допустил, значит так должно быть... И я не сержусь на тебя.

П и л а т (*сбитый с толку*). Кто же твой отец?

И е ш у а. Бог.

Ламия украдкой хохочет.

Пилат (*с недоумением*). Какой бог, чей бог, ваш иудейский?

Иешуа. Да. Бог Авраама и Исаака Единый, вечный, истинный бог.

Пилат (*добродушно*). Чудак. С этой сказкой ты опоздал, по крайней мере, на тысячу лет. Боги давно остепенелись и больше не изменяют богиням с земными женщинами. Кто тебе это сказал.

Иешуа. Моя мать открыла мне это

Пилат (*ещё больше добродушно*). Уверяю тебя, — она ошиблась.

Иешуа (*сверкая глазами*). И пророк предсказал это. Он не ошибся. Два свидетеля.

Пилат. Ты действительно называешь себя царём?

Иешуа молчит.

Пилат (*с неудовольствием*). Чего же ты молчишь?

Иешуа (*недоверчиво и пытливо*). Ты от себя это говоришь или другие научили тебя?

Пилат (*с гордым презрением*). Разве я иудей? Ведь твой народ и твои священники привели тебя сюда. Что ты сделал?

Иешуа. Царство моё, которое я должен утвердить, иного устройства. Если бы оно могло помириться с окружающим, то, наверное, мои слуги и подданные защищали бы меня, и я не был бы здесь (*с глубоким выдохом*). Но теперь я вижу, что царство моё несовместимо с окружающей действительностью.

Пилат (*с недоумением*). Итак, ты царь иудейский.

Иешуа. Да. Я царь.

Пилат. Какие же у тебя права утверждать это.

Иешуа (*устало, почти апатично*). Тебе не понять этого. Всё это, что мы видим кругом: зло, насилие, неправда,

глупость, жестокость должны исчезнуть и уступить место новому царству, царству добра и истины.

П и л а т (*насмешливо*). А что есть добро? Что есть истина?

Иешуа молчит.

П и л а т (*добродушно*). Сократ, Протагор, Платон, Аристотель, Пиррон, Фразимах, Диоген, Эпикур, Зенон, Кратес, Гегезий и сотня других обломали зубы над вопросом — что есть добро и истина. Неужели ты умнее их. Скажи ты и если ты действительно знаешь, то мы первые уверуем в тебя.

Иешуа молчит.

П и л а т (*с любопытством*). Скажи же. Каково должно быть твоё царство?

И е ш у а. В моём царстве не будет бедных.

П и л а т (*переглянувшись с Ламией*). Но не будет и богатых. У всех будет поровну и все будут одинаково счастливы?

И е ш у а (*оживляясь*). Ты знаешь истину; ты слышал меня.

П и л а т (*невольно улыбаясь*). Я не слышал тебя, но я знаю, что была спартанская республика. И всё это там было... Это не ново.

И е ш у а (*недоверчиво и удивлённо*). Этого не могло быть. Если бы это было, то об этом было бы свидетельство в нашем писании.

П и л а т. Ты упрямый невежда. В ваших иудейских книгах нет и тысячной доли того, что пережило и знает всё человечество... Ещё что будет в твоём царстве?

И е ш у а. В моём царстве не будет несчастных.

П и л а т (*удивлённо*). Все будут счастливы?

Л а м и я (*не выдержав, с изумлением*). Почему?

И е ш у а. Они будут всегда радоваться.

Л а м и я. Чем же ты сумеешь радовать своих людей постоянно?

И е ш у а (*многозначительно*). Они будут видеть бога.

Л а м и я. Постоянно.

И е ш у а. Всегда. И днём и ночью, и утром и вечером.

Л а м и я. И от этого будут радоваться?
И е ш у а. Конечно, чего же ещё.

Ламия со смехом садится на место.

П и л а т (*добродушно*). Радость видеть не только бога, но даже любимую женщину длится всего несколько дней, а потом начинает надоедать. Если ты заставишь твоих людей без отдыха созерцать твоего бога, то, уверяю тебя твои люди, не дальше как через месяц, разбегутся куда попало из твоего царства.

И е ш у а (*угрюмо*). Ты ошибаешься.

П и л а т. Ну, это, наконец, не важно. А вот ты хочешь уничтожить зло, неправду, насилие. Ты так говорил.

И е ш у а. Да так.

П и л а т. Как же ты думаешь это сделать. Человек от природы существо злое, завистливое, лживое. Как и чем ты сумеешь преодолеть человеческую природу.

Ламия отрывается от свитка, поднимает голову и с величайшим интересом ждёт ответа Иешуа.

И е ш у а. Люди должны любить друг друга. Каждый должен любить другого, как самого себя. В этом истина. Великая всеобщая любовь, — вот основа моего царства.

П и л а т (*нахмурившись задумывается*). Да... Это ново... Этого я не слыхал... (*к Ламии*) Что ты скажешь?

Л а м и я. Спартанская республика, населённая беспричинно радующимися глупцами, конечно, вздор... но общая повальная любовь, это действительно интересно и ново. Среди рабов и простонародья эта идея может иметь большой успех... (*Задумчиво, прислушиваясь в себе*). Я могу любить тебя, любить Корнелия... моих рабов... но всех... нет, всех не могу. Это выше моих сил. Да и для чего... Тиберия я ненавижу и ничто не может заставить меня полюбить его. Самое большое, что я могу сделать — забыть о нём.

П и л а т. Не можешь. Тогда будь последователен. Этот иудей может победить твоего Эпикура.

Л а м и я (*задетый за живое*). Победить? Сейчас увидим. Позволь задать ему вопрос.

П и л а т. Спрашивай.

Л а м и я. Скажи иудей, у тебя есть последователи. Много их?

И е ш у а. Если бы их было много, то они защищали бы меня и я не был бы здесь.

Л а м и я. Но ты сам, конечно, следуешь своему учению.

И е ш у а. Да, я следую, но царство моё...

Л а м и я. погоди. Скажи, кто привёл тебя сюда?

И е ш у а. Меня привели саддукеи. И фарисеи меня предали.

Л а м и я. Этот, как его, Ханан. Ты знаешь его. Кто он?

И е ш у а (*сверкнув глазами*). Он сатана. Горе ему!

Л а м и я. Ты любишь его.

И е ш у а (*чувствуя в вопросе ловушку, уклончиво*). Я люблю тех, кто исполняет волю моего отца.

Л а м и я (*бросает на Пилата торжествующий взгляд и лениво садится на место*). Ага, больше ничего. Бери его. Понтий. Он скучен... Божественный Эпикур никогда и никем не будет превзойдён.

П и л а т. Эй, воин!

Л а м и я. Слушай иудей; пока не поздно, отрекись от своих безумных претензий; ты сам накликаешь на себя свою участь.

Из глубины входит воин.

Л а м и я. Слушай, я тоже сын бога: я называю своим отцом божественного Эпикура. И от имени моего отца я скажу тебе, всякий взбирающийся на скалу должен помнить, что со скалы можно сорваться и расшибиться на смерть.

П и л а т (*воинам*). Возьмите его.

Воины уводят Иешуа.

П и л а т. Мне жаль этого чудака.

Л а м и я. Он сам накликает на себя свою участь.

Пилат (*громко, подходя к балюстраде*). Иудеи, я сейчас допросил его. Это просто мечтатель и я думаю, что его надо отпустить. Уверю вас, что это совершенно безвредный мечтатель.

Взрыв голосов. Казни его! Повесь его!

Пилат (*с иронией*). Как же я казню вашего царя?

Шутка Пилата приводит толпу в ярость.

Голоса. Крестуй его! Он самозванец! Он бунтовщик! Нет у нас царя кроме Тиберия! Если отпустишь его, значит ты враг цезаря! Ты защищаешь бунтовщика!

Пилат гневно отходит на середину.

Пилат (*сжимая кулаки*). Ламия, ты слышишь, как они кричат на меня? О, если бы был жив Сеян. Я напомнил бы им орлов. Я вымыл бы сегодня двор претории их кровью.

Рёв толпы усиливается.

Пилат (*подходя к балюстраде*). Иудеи, завтра у нас праздник. Хотите, ради этого праздника, я отпущу вам его на свободу. Накажу его плетьюми, если хотите.

Толпа недоумевающе стихает.

Голос Ионафана. Отпусти Иешуа, но другого. Иешуа Бар-Авву.

Голос Измаила. Бар-Авву, Бар-Авву! Он праведный человек! Он истинный иудей. Он невинно страдает.

Толпа. Бар-Авву!.. Бар-Авву!.. Отпусти Бар-Авву!..

Пилат. А этого, царя?

Толпа (*единодушно*). Казни, повесь его!

Пилат (*пожимая плечами*). Воины, дайте воды.

Толпа гудит.

Пилат, угрюмо опустив голову, сходит во двор

*и показывается на судейском кресле.
Снизу входят и останавливаются у рамы,
не входя в атриум, Накдимон, 2-й, 3-й фарисеи и Лазарь
с сёстрами.*

Накдимон (*протягивая руки к Ламии*). Господин, проси прокуратора. Спаси его. Он не злодей.

Мария, Марфа, Лазарь и фарисеи. Спаси. Спаси. Спаси его.

Ламия равнодушно пожимает плечами, затем встаёт, заглядывает в глубину, разводит руками, и всем своим видом говорит: я ничего не могу сделать, но... погодите... посмотрим. Слева входит раб.

Раба. Госпожа приказала сказать, что завтрак готов.

Ламия. Ах, соус сегодня, вероятно, перестоится.

Воин подаёт Пилату воды.

Пилат. Ещё раз, иудеи, говорю вам: отпустите этого несчастного безумца.

Толпа. Повесь, повесь его!..

Пилат (*воину*). Лей. Вот перед лицом вечного солнца, да будет оно свидетель, я умываю руки. Невинен я в его смерти. Смотрите вы.

Голоса. На нас его смерть. Берём на себя.

Пилат. Воины, казните его.

Радостный рёв толпы. Мария с воплем отчаяния падает на грудь сестры. Накдимон и его спутники горестно замирают. Пилат угрюмо, смахивая с рук капли воды и вытирая ладони краем туники, входит в атриум.

Пилат. Гнусные кровожадные звери... Боги, далёкие вечные боги, если только существует ваша справедливость, этот город безумных должен быть уничтожен до основания и

народ этот истреблён до последнего. Услышите мою молитву боги.

Л а м и я. Завтрак готов.

П и л а т. Ай, и соус, наверное, уже перестоялся.

Л а м и я. Нет, нет, успокойся.

П и л а т. Так идём, идём скорее. Кстати я и руки уже ВЫМЫЛ.

Со двора быстро входит Петроний и в ожидании, когда Пилат заметит его останавливается среди атриума.

П и л а т (*заметья Накдимона и его спутников*). Тебе чего?

Н а к д и м о н (*почти безнадежно*). Спаси его, добрый господин. Помилуй его.

П и л а т (*раздражённо*). Ты с ума сошёл. Приговор состоялся... Я всё сделал, чтобы спасти этого безумца, но он сам себя погубил.

Н а к д и м о н. Ты уступил саддукеям. А мы, фарисеи, просим тебя спасти его.

2 - й ф а р и с е й. Накажи его, изгони, заключи в темницу, но только не убивай его.

М а р и я и М а р ф а. Отпусти, отпусти его, господин.

Л а з а р ь. Молим тебя, добрый господин. Вот взгляни на меня. Я — человек, которого он спас от смерти. Он лучший среди всех сынов Израиля и ты его приказываешь убить.

М а р и я и М а р ф а (*падая на колени*). Господин, сжался.

Пилат сердито сдвигает брови, шагает по сцене и в то время когда он останавливается в стороне, вблизи Ламии, Петроний быстро подходит к нему.

П е т р о н и й (*коротко, отчётливо и тихо*). Будь спокоен, благородный Понтий, он не умрёт.

П и л а т (*поднимая голову и мгновенно соображая*). Но... он должен исчезнуть. И я ничего не знаю.

П е т р о н и й (*понимая*). Господин... (*отступает в глубину*).

Короткая немая сцена, Петроний делает Накдимону глазами и рукой быстрый как молния едва заметный короткий знак, означающий: успокойся и уходи, не надоедай, отстань... Лицо Накдимона озаряется сдержанной радостью надежды.

П и л а т. Ничего не могу сделать, всё кончено.

Ламия свёртывает свиток и бросает на иудеев равнодушный взгляд. Мария с рыданием обнимает сестру. Накдимон спешит увести спутников. Со двора доносится стук топора. Петроний иронически смотрит на женщин.

П и л а т. Идём, Элий. Идём скорее. Быть может, нам удастся спасти хотя бы соус.

ЗАНАВЕС

V-й акт

«Всё основано на убеждении; оно же зависит от тебя. Устрани, поэтому, когда захочешь, убеждение и, как моряк, обогнувший скалы, обретёшь спокойствие, гладь и тихую пристань».

Марк Аврелий

Во всю сцену из глубины и почти до рампы, склон горы, покрытой деревьями и кустами. В стороне пещера.

Конец дня, к концу картины короткие южные сумерки и вечер 14 ниссена.

Картина 1-я

Г о л о с (*сверху*). Осторожно! Осторожно...

Шурша листьями и камнями, медленно сходят Иосиф из Аримафаи и Накдимон; с помощью двух воинов они несут обнажённого и прикрытого плащом Иешуа. Сзади в сопровождении других трёх воинов идёт Петроний. Когда все они спускаются вниз и кладут тело около пещеры, сверху спускаются несколько любопытных, среди которых Мария из Магдалы, Симон-З., Иоанн и Матфей; все они робко теснятся в стороне налево.

Петроний. Поправьте ему повязку на груди. (*Громко группе любопытных*). Уходите отсюда. Всё кончено. Теперь его погребут. (*Одному из воинов*). Бери кувшин и беги за водой.

И о с и ф. Не надо. Здесь всё приготовлено.

На к д и м о н. Удали этих бездельников, почтенный Петроний.

Петроний (*оборачиваясь к группе налево*). Слушайте. Я сегодня проснулся в плохом настроении и поэтому не заставляйте меня повторять вам одно и тоже в третий раз. Уходите отсюда. (*К воинам*) Ты пройди на сто шагов туда и стань на страже, никого не пускай. Ты сюда — точно также. Ты — туда, а ты — сюда. Со всех четырёх сторон... А ты останься.

Четыре воина расходятся в разные стороны.

Петроний. Во всём легионе он лучше всех умеет врачевать. Если когда-либо его поразит иудейский или парфянский меч, — нам придётся плохо. Я нарочно взял его... Никого нет. Делай своё дело.

Воин сбрасывает с Иешуа плащ и начинает ловко и быстро массировать его. Иосиф приносит из пещеры кувшин с водою

и два небольших кувшина с вином и маслом, а затем робко и неумело начинает помогать воину.

Накдимон (*Петронию, укоризненно*). Зачем ты ударил его мечом?

Петроний. Это было необходимо; прежде всего для того чтобы удостовериться что он жив. А потом, так или иначе, кровопускание необходимо.

Воин (*поднимая голову*). Да, кровопускание обязательно нужно.

Петроний. И потом, какой же это удар. Лёгкая царапина, которая заживёт через два дня. Я знаю, как ударить и умею ударить.

Накдимон. Одного не пойму: как это вышло, какой ангел вразумил тебя обойтись с ним так мягко.

Петроний. Не знаю что такое ангел. Но никто из ваших, а наш прокуратор своим поведением. Я очень хорошо видел, что он всячески старается спасти этого несчастного. Ведь два раза приводили его в преторию ваши жрецы. Во второй раз Понтий все способы употребил чтобы спасти его. А это совсем не похоже на него. Прокуратор не много хлопочет, когда дело идёт о жизни какого-либо иудея. Что же я, глуп — чтобы не понять его. Я даже не дал ему нести крест, а заставил это сделать какого-то бездельника, которого мои воины выхватили из толпы... Не будь толпа так велика, там наверху, я распял бы этого же самого бездельника, а этого отпустил бы. Это бывало.

Накдимон (*воину*). Ну что?

Воин выпрямляется и с недоумением разводит руками.

Накдимон (с отчаянием). Неужели он умер.

Воин, склонившись, слушает сердце Иешуа.

Петроний. Это было бы удивительно. Те двое, которые были повешены с ним, вы сами видели, ещё разговаривали, когда вы пришли... Верёвками мы его привязали толстыми...

Накдимон (*с тоскою*). Иешуа, бедный Иешуа. Научи нас, что нам делать с тобою, как спасти тебя... Воин, друг, я дам тебе хорошую награду, оживи его...

Воин (*поднимая голову с убеждением*). Он жив. (*Иосифу*) Дай сюда воду и растирай ему ноги, вот так.

Петроний отходит в сторону и зорко оглядывается.

Иосиф (*помогая воину*). Я не был в Синедрионе. Я был в винограднике. Сын прибежал ко мне и рассказал. Я бросился в город, пришёл в преторию — всё уже было кончено.

Петроний (*подходит*). Ну что?

*Воин выпрямляется и смущённо разводит руками.
Общее печальное молчание.*

Петроний. Не выпил ли он слишком много усыпляющего питья.

Воин. Может быть и так... Положим его в пещеру. Быть может, он согреется сам собой и оживёт... Я сделал, что мог.

Долгая тягостная пауза.

Накдимон. Что же делать?

Иосиф. Совершим погребение. Он мёртв.

Петроний (*растерянно*). Удивительно... Так скоро... Если он умер, то только от страха. Это не наша вина.

Накдимон (*укоризненно*). Зачем ты ударил его мечом.

Петроний. Таких ударов на моей груди, гляди сам, самое меньшее — пять десятков.

Молчание.

Иосиф. Совершим погребение. Накдимон, наступает суббота. Надо спешить.

Накдимон (*испуганно оглядывается*). Да надо спешить. Бери его.

*Накдимон и Иосиф поднимают Иешуа и несут его в пещеру.
Петроний сконфууженно и угрюмо мнётся, воин нюхает
кувшин с вином и с жадным удовольствием пьёт из него.*

Петроний. Что-то ты припал усердно. На воду ты так не набрасываешься.

Воин (*переводя дух*). Вода не вино, много не выпьешь.

Петроний. Вино?

Воин. Замечательное.

Петроний. Так дай же сюда (*с живостью берёт кувшин*). Отойди, друг. Здесь осталось одна капля, ты её носом вытянешь.

Воин. Там ещё полкувшина.

Петроний. Ладно, ладно. Высосал одним махом четыре литра (*пьёт*).

Воин. Только-только язык смочил.

Петроний (*оторвавшись от кувшина*). Уф! Ещё бы одну такую. А теперь совершим возлияние пенатам и ларам умершего (*опрокидывает кувшин, в нём ничего нет*).

Воин (*ухмыляясь*). Не много осталось пенатам.

Петроний (*наставительно*). Иудейские пенаты очень скромны, им больше и не требуется.

*Иосиф и Накдимон выходят из пещеры.
В руках Иосифа свёрток.*

Накдимон. Всё. Готово.

Иосиф. Я приготовил ему даже одежду. Под видом садовника он мог бы скрываться здесь сколько угодно.

Накдимон. Брось её. Не оскверняйся. Она из могилы.

Иосиф бросает свёрток в пещеру.

Иосиф (*печально*). Помогите нам, друзья.

*Все берутся за каменную плиту,
поднимают её и приставляют ко входу.*

Воин (*осенённый мыслью*). Ближе, прямее.

Накдимон (*догадавшись*). Ты прав, воин. Я сам это только что подумал.

Петроний. Да. Да. Как можно ближе и прямее.

Иосиф (*наивно*). Зачем?

Петроний. Затем, что если он оживёт, то дверь не должна быть слишком крепко заперта.

Воин. Так, тащите к себе. Надо оставить щель.

Петроний. Ближе, ближе... Довольно. А то она упадёт сама собою от страха раньше времени.

Воин. Так достаточно. Теперь её только толкнуть изнутри пальцем и она упадёт.

Иосиф. Там есть всё, что нужно: и одежда и пища. Вот только вино...

Петроний. Выпили мы. Но в честь его.

Воин. Слишком маленький сосуд ты приготовил. Ты не рассчитывал на желудок римского воина, которому нужно раз в десять больше.

Накдимон (*со вздохом*). Идёмте.

Петроний. Эй, воины!.. Сюда!.. Ты, друг, всё же останься здесь на всякий случай на страже. Я оставлю с тобою ещё одного. Если что-либо случится — пошли его за мною, а сам не пускай никого... А если (*понижая голос*) он оживёт, то и его никуда не пускай до меня.

Сходятся четыре воина.

Петроний (*одному из воинов*). Ты останешься здесь с ним. Он будет тебе старшим.

Иосиф, Накдимон, Петроний и три воина уходят.

Тишина и молчание. Сумерки сгущаются.

Воины ложатся неподалёку от пещеры и изредка перебрасываются короткими фразами.

2-й воин. Однако, как скоро он умер. Удивительно.

1 - й в о и н. Да, слабый народ. Но надо отдать ему справедливость: он умер как стоик. Как римлянин.

2 - й в о и н. Вы старались его спасти?

1 - й в о и н. Ничего не вышло.

2 - й в о и н (*после некоторого молчания, отдаваясь воспоминаниям*). Перед отправлением сюда, в Цезарею мы распяли шестерых иудеев, сикариев. Они заманили в ловушку двух наших воинов и искромсали их ножами. Их распяли в ряд... Так они только со второго дня начали умирать... Один из них прожил целую неделю. Было очень смешно... Вся когорта приходила смотреть на него, и воины хохотали как над комедией.

1 - й в о и н (*лениво*). Почему?

2 - й в о и н. Он всё время ругал и проклинал нас самым невероятным образом. Мы нарочно поддерживали его и давали ему в рот вино и хлеб. Не можешь себе представить до чего он был смешон, весь закостенелый, синий, с горящими глазами и хриплым голосом... С одной стороны, он не хотел есть, чтобы скорее умереть, а с другой стороны рот его сам, против воли, хватал хлеб. Чуть насытившись, он плевал в нас последним куском, бился головой об дерево и начинал проклипать всё: цезаря, нас, Иерусалим, иудеев, своего бога и весь мир. Мы хохотали до упаду.

1 - й в о и н (*лениво запекает*). Кто не любил никогда — должен завтра любить, и кто много любил — должен завтра любить.

2 - й в о и н (*принюхавшись и прислушавшись*). Послушай, когда и где ты успел?

1 - й в о и н (*скромно*). Пустяки. Три-четыре глотка с пол-литра.

2 - й в о и н. Если четыре глотка, то значит четыре литра. Что иное, а вино ты глотаешь литрами.

1 - й в о и н (*примирительно*). Говорю тебе, пол-литра.

2 - й в о и н. Лжёшь. На весь сад пахнешь по крайней мере тремя литрами.

1 - й в о и н. Не будем спорить. Тем более, что вино было превосходное.

*Из пещеры внезапно доносится долгий, мучительный стон.
2-й воин вскакивает с выражением ужаса. 1-й радостно
прислушивается.*

2 - й во и н (*изменившимся от страха голосом*). А, слы-
хал?

1 - й во и н. Тебе кажется.

2 - й во и н. Мертвец кричит.

Стон повторяется.

2 - й во и н. Слышишь?

1 - й во и н. Беги к Петронию и скажи, что слышишь.

*Второй воин, дико озираясь, поспешно уходит.
Камень у входа в пещеру шатается и с грохотом падает.
Потеряв равновесие, из отверстия пещеры,
со стоном падает на камень
и медленно пытается подняться Иешуа.*

Иешуа (*голосом, в котором одновременно тоска,
ужас и безумная радость*). Отец мой!.. Где же ты?.. Я жив...
Я воскрес...

ЗАНАВЕС

(Опускается и тотчас же поднимается)

Картина 2-я

Обстановка та же. Утро 16-го ниссена. Слева осторожно озираясь, входят Симон-К., Иоанн и Мария из Магдалы. Уже издали они видят отваленный камень и с изумлением подходят к пещере. С нарастающим ужасом все трое заглядывают в отверстие и внимательно рассматривают пещеру.

М а р и я. Нет тела учителя. Унесли его.

С и м о н - К. Кто же унёс?

И о а н н. Куда?

С и м о н - К. Зачем?

И о а н н. Ничего не понимаю.

Симон-К. входит в пещеру.

С и м о н - К. Вот пелены погребальные.

И о а н н. А вон платок для головы.

С и м о н - К. Я тоже ничего не понимаю. Ты не ошибся ли Иоанн?

И о а н н. Я видел своими глазами, как его принесли сюда. Мы пришли от Голгофы с Марией. Мы видели всё. Сотник и воины нас прогнали. Тогда я стороною пробрался туда, на гору и оттуда видел всё. Его погребали Иосиф и Накдимон. Они долго возились пока положили его в пещеру. Я видел своими глазами, как вчетвером они подняли этот камень, поставили его и ушли; оставили стражу. Тогда и я ушёл, потому что наступала суббота.

С и м о н - К. Нет субботы, где учитель.

И о а н н (*запальчиво*). Если ты сделался язычником, то для тебя, конечно, нет субботы.

С и м о н - К. (*сердась*). Я не язычник. Я любил его всем сердцем моим, а ты только на языке.

И о а н н. Потому то ты, вероятно, и клялся на дворе у Каиафы на весь Иерусалим, что не знаешь его.

С и м о н - К. (*гневно*). Замолчи, хулитель. А ты сам? Почему ты сам молчал и не свидетельствовал о нём. Трус!

И о а н н. Ты хочешь, чтобы я ввергнул тебя в эту пещеру.

М а р и я (*тихо плакавшая всё время, склоняясь у входа в пещеру*). Братья, только один день его нет с вами и вы уже забыли его учение. Самое главное его наставление.

С и м о н - К. (*смущённо*). Правда... Только один день.

Иоанн сердито и тоже смущённо отворачивается.

М а р и я. Не он ли говорил вам: любите друг друга, как каждый любит самого себя.

С и м о н - К. Иоанн, во имя его прости мой злой укор.

И о а н н. Ты прости меня, Симон. Я первый оскорбил тебя.

С и м о н - К. (*постепенно входя во вкус самоуничижения*). Нет, не ты, а я первый сказал обидное слово о субботе

И о а н н. Твоё слово о субботе не было обидно, Симон. Сатана внушил мне обидеть тебя в ответ.

С и м о н - К. Не говори о сатане, Иоанн, это не сатана, а бог, потому что ты правильно обличил меня.

И о а н н. Я недостойн обличать тебя. Я сам изменник и грешник.

С и м о н - К. Я большой изменник. Я большой грешник. Я перед народом отрёкся от него. Горе, горе мне.

И о а н н. Не горе, а радость. Великую любовь, которую он оставил нам, мы передадим людям.

С и м о н - К. Мы расскажем людям об этой великой любви. Мы научим их.

И о а н н. Их глаза откроются и они поймут, как сладко любить друг друга и насколько любовь лучше гнева

С и м о н - К. (*вдохновенно*). Идём, Иоанн. Идём!

И о а н н. Идём. Здесь нам нечего больше делать.

С и м о н - К. Идём, Мария.

М а р и я. Идите. В гортани у меня ещё много слёз. Их надо оставить здесь.

И о а н н (*нетерпеливо и повелительно*). Пусть остаётся. Идём, Симон.

Симон - К. *(поспешно и покорно)*. Идём, идём.

Оба уходят. Мария остаётся одна, и тихо плачет.

Затем оглянувшись она медленно уходит налево, а в это время снизу, в глубокой задумчивости, входит Иешуа, в простой одежде садовника с покрывалом, низко опущенным на глаза. Когда он проходит мимо могилы, Мария, услышав ли его шаги, или просто бросая последний взгляд на дорожку могилу, оборачивается.

Мария *(жалобно)*. Скажи, садовник, где он? Куда ты унёс его тело?

Иешуа *(поднимая голову, изумлённо)*. Мария.

Мария *(с вакхическим жестом любви и безумной радости)*. Учитель... Милый... Любимый... *(падает к ногам Иешуа и страстно целует их, судорожно прижимая к себе)*. Ты жив?.. Ты жив!.. Мои глаза видят тебя... мои руки осязают тебя. Как же это случилось. Или вместо тебя казнили другого, Нет, это тебя они терзали. Твоё лицо бледно и щёки залились. Иешу, милый...

Иешуа *(с гримасой боли)*. Мария, не прикасайся ко мне.

Мария *(покорно отстраняясь)*. Ты гонишь меня, Иешу. Ты не можешь простить меня. За что? За этого римлянина. Но клянусь тебе, между нами ничего не было. Хананы по злобе схватили меня... Я люблю тебя, одного тебя, мой Иешу. Если бы ты знал, как мучилась я эти дни, как тосковала моя душа без тебя. Я бегала, как коза, потерявшая козлёнка по всему Иерусалиму, а ночью не могла сомкнуть глаз от тоски и горя. Иешу, не гони меня. Прости меня. Я твоя раба — господин мой, делай со мною что хочешь, но только не гони, не покидай, о, не покидай меня, Иешу.

Мария вновь страстно обнимает колени Иешуа и припадает к ним головой, а он, тронутый её безграничной преданностью, тихо проводит рукою по её волосам.

Эта короткая ласка оживляет Марию.

Мария. О, Иешу, теперь должно начаться твоё царство, да. Ты будешь царём. Ты истребишь теперь мечом этих гнусных Хананов, Камифов и Канферов. Ты отдашь их в рабство твоим друзьям. Теперь мы насладимся их позором и мучениями.

Иешуа со жгучим стыдом низко опускает голову.

Мария (*с жадным любопытством*). Но где же твои воины? Где твои слуги? Дай мне приветствовать их.

Иешуа. Я ещё не нашёл моего отца (*хочет идти*).

Мария (*с тоской*). Иешу, ты уходишь. Ты покидаешь меня.

Иешуа. Да, Мария, я ухожу, Я иду к отцу моему... (*мрачно*) Я найду его теперь. Мне надо его найти.

Мария. А мы? Неужели ты бросишь нас. А твои ученики? Они теперь как растерянные овцы без пастуха. Неужели ты бросишь их.

Иешуа (*приходит в себя*). Мои ученики и друзья... Да, мои ученики... Нет, Мария, я не брошу их. Скажи им всем, что я скоро буду в Галилее. И даже раньше их.

Голос Петрония (*снизу*). Иудей! Где ты?

Иешуа (*поспешно*). А теперь уходи. Уходи скорее, Мария. Ты погубишь и себя и меня. Вечером собери всех наших. Я приду.

Мария. Ты будешь у меня?

Иешуа. Да. Обещаю тебе это. Уходи скорее.

Голос Петрония (*приближается*). Эй, где ты?

Мария поспешно уходит. Иешуа садится на камень.

Снизу входит Петроний.

Петроний. Вот где ты. Ты слышал — я звал тебя?

Иешуа. Да, добрый воин я ждал тебя

Петроний. Видел тебя кто-либо здесь?

Иешуа. Нет. Никто.

Петроний. Хвала богам. Я боялся, чтобы тебя не увидел кто-либо. Беда. Кто-то уже разболтал, что ты жив... веро-

ятно один из воинов, которых я оставил здесь на страже. Ваши священники уже опять прибегали к прокуратору и опять шумели у него. Они требовали, чтобы опечатать твою могилу и поставить стражу на несколько дней. Прокуратор велел мне показать твою могилу. Ха-ха-ха! Я показал им старую могилу, вон там, они опечатали её и теперь охраняют её, как любимую драгоценность. Там сейчас стоит стража... (*меняя тон*). Теперь слушай, иудей. Тебе надо бежать отсюда и как можно скорее. Здесь тебя могут найти. Здесь спрятаться трудно... Однако же и ловкий ты малый. Ваши священники по дороге рассказали мне о тебе всё. Оказывается, это ты уже второй раз воскресаешь из мёртвых... (*смотрит на Иешуа с удивлением и даже с некоторым суеверным страхом*). Ты, может быть, действительно, волшебник. Ведь тебя уже один раз побили камнями.

И е ш у а. Мои ученики спасли меня и унесли. А потом я оправился.

Петроний (*насмешливо*). И опять принялся добиваться царства. Не по силам ты взял себе задачу, иудей.

И е ш у а (*махнув рукой*). Больше не хочу. Довольно. Если бы весь мир сейчас предложил мне все царские троны, я с отвращением отказываюсь от них. Ты прав, добрый воин, пророки — невежественные мечтатели и лгуны. Они обманули меня. Два раза ради вздорной мечты я опускался в бездну смерти. И этого для меня довольно.

Петроний. Это ты хорошо говоришь. Жаль, слишком поздно, правильно рассуждаешь. А вот тебе мой совет и приказ. Я тебя спас, потому что думал, что это угодно прокуратору, ты пользуйся этим и уходи. Уходи как можно дальше. Уходи совсем из Иудеи. Мир велик. Уходи так, чтобы и имя твоё изгладилось и память о тебе исчезла. Потому что рисковать за тебя своей головой я не хочу, а если ты ещё в третий раз попадёшься в руки твоим жрецам, то клянусь Марсом, клянусь моими родителями, в третий раз ты больше не воскреснешь и никакой Петроний тебя больше спасти не посмеет.

И е ш у а (*печально*). Я сам это теперь вижу и понимаю.

Петроний. Я только сегодня понял, как ты досадил здешней аристократки.

Иешуа. Мне хотелось бы только хоть раз, хоть молча взглянуть на моих друзей.

Петроний. Не надо этого. Заклинаю тебя не делай этого. Твои друзья сейчас же разболтают об этом своим жёнам, жёны разболтают соседкам, соседи своим соседям и тебя схватят.

Иешуа. О, они не разболтают.

Петроний. Как хочешь. Смотри сам. Если хочешь ещё раз побывать на кресте, — делай как знаешь. Но предупреждаю тебя, своей головой отвечать я не хочу. Понимаешь? И поэтому исчезни. Исчезни совсем. Исчезни так, чтобы и имени твоего никто не слышал. Тсс...

Звук шагов. Иешуа быстро набрасывает на лицо край плаща. Медленно и остро приглядываясь к Иешуа, проходит Иуда.

Иуда (*задерживаясь на ходу, с беспечным видом*). Мир вам, добрые люди.

Петроний. Привет и тебе, иудей. Что тебе надо?

Иуда. Благородный воин, я ищу гробницу того, которого здесь погребли.

Петроний. Она не здесь. Он там, за тем склоном. Так ты найдёшь своих.

Иуда. А это кто с тобою, добрый воин?

Петроний. Слушай, иудей, ты, вероятно, никогда не ощущал на своей шее кулак римского воина или палку на своей спине. Ты получишь сегодня это удовольствие, если будешь приставать к людям, которые совсем не желают с тобою разговаривать.

Иуда, ворча и озираясь на Иешуа, уходит.

Петроний (*проводив Иуду грозным взглядом*). Видишь, как рыщут кругом шпионы.

Иешуа (*поднимая лицо, с ужасом оглядывается*). Вижу, вижу... Ты прав.

Петроний. Поэтому уходи скорее. Смотри сюда. Иди так прямо, по Эмаусской дороге. Там тебе никто не встретит-

ся. Все ваши иудеи сейчас справляют праздник. Ты оправился совсем?

Иешуа. Да, я хорошо себя чувствую.

Петроний. Тем лучше. К вечеру ты, значит, уже будешь далеко. Иди с миром и исполни всё то, что я тебе советую. Исчезни совсем. Третий раз ты не воскреснешь.

Иешуа. Ты больше никогда не услышишь обо мне, добрый воин. Но в сердце моем я буду хранить всегда память о тебе, как о лучшем среди всех людей.

Петроний (*тронутый*). Иди. Да хранят тебя боги. Наши старые римские боги не так кровожадны, как ваш иудейский. Пусть они хранят тебя. Люди глупы и злы, и не нам с тобою переделать их... Оставь твои затеи и брось думать о царских престолах.

Иешуа, накинув на лицо покрывало, уходит налево.

Петроний, проводив его взглядом, спускается вниз.

ЗАНАВЕС

КОНЕЦ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ВЗДОХ СОЖАЛЕНИЯ

I

Такую же книгу, какую написал для французов Ренан, а для немцев Штраус, но более близкою к истине, давно хотелось мне написать для русских. В большом произведении типа «Саламбо» или «Таис» мне хотелось шаг за шагом пройти весь путь от Назарета до Голгофы и затем обратно в направлении, незамеченном, непонятом историей и вскрыть, наконец, подлинную жизнь раввина Иешуа, изумительно правдивые эпизоды из коей сверкают там и сям в канонических поэмах, в апокрифах, в Талмуде, у Цельза, сквозь туман ретушерских стилосов, сквозь дымку полемики, экзегетики, тенденциозной диалектики и других наслоений. Выбрать эти сверкающие жемчужины действительности и восстановить по ним подлинную жизнь Иешуа: такова была моя задача.

Для этого, однако же, прежде всего необходимо самому быть в Палестине, надышаться её воздухом и изучить обстановку до последнего камня, а это, к сожалению, с каждым годом делается всё более и более невозможным. Уже семь лет, семь невозвратно утраченных лет моя родина занята тщательной проверкой теории доктора Крупова и конца ей не предвидится; выбраться в Палестину нет никакой возможности, а между тем жизнь коротка и надо спешить. На очереди другие произведения задуманного цикла. Волей-неволей пришлось с величайшей грустью оставить мысль о художественно-научном романе и взять форму, единственно возможную, драматическую.

II

Никто из авторов, бравшихся за эту тему, ни благочестивые составители канонических поэм, ни ещё менее отцы церкви, ни гностические авторы, ни ересиархи (за исключением, по-видимому, одного Ария); ни языческие противники, ни Паулус, ни Шлейермахер, ни наипаче всех Ренан, не понял

и не осветил правильно подлинную и весьма интересную личность демагога неудачника, стяжавшего себе столь изумительную посмертную славу/ Штраус, разъев, как кислотой, силой своего анализа весь традиционный материал, совсем остался в пустыне: он и его школа похожи на человека, который, рассматривая в микроскоп с тысячекратным увеличением животное, восклицает: «не вижу никакого животного, вижу только бесформенные клеточки и шарики». Один только Фаррар, благодаря своему необъятному специальному образованию, смог выслушать и другую сторону, т. е. Талмуд с его выкинутыми местами: Толдойс-Иешуа, Цельза и др., но у него была определённая, заранее предрешённая задача и за блестящее выполнение её Фаррар поистине заслуживает почётный титул «Величайшего фальшивомонетчика христианства».

В предисловиях академических трудов принято благодарить тех, кому автор обязан наиболее полезным сотрудничеством, и вот, следуя этому обычаю, я шлю глубочайшую признательность архиепископу Ф. В. Фаррару, который больше всех укрепил меня в моих догадках. Ах, добрый старик не услышит этой, для него вероятно очень неожиданной, благодарности.

Больше благодарить мне некого.

III

В угоду требованиям драмы и её тесных рамок мне, увы, пришлось урезать и сжать фабулу, чтобы втиснуть её на Прокрустово ложе сцены. Это делать мне было тем более тяжело, что приходится совершенно оставить в тени воспитание (талмудическая легенда о бен-Парахья), первые годы общественной деятельности Иешуа, весьма интересный 31-ый год по христианскому счислению, когда Иешуа, ещё скромный провинциал, с ясно выраженным священным ужасом запрещал ученикам, даже наедине называть его Мессией (Лук. 9, 21), развитие вообще личности Иешуа в связи с возраставшей его известностью, и массу интересных эпизодов. Мало, слишком мало пришлось остановиться на чудесах, которые в

воображении авторов Евангелий были непререкаемой истиной, а с фактической стороны... они также были. Здесь всё зависит от описания. Если я скажу: вот чудо, я видел человека, из голых рук которого вырывалось пламя, — мне, конечно, никто не поверит, но кто видел опыты д'Арсонваля или знает о них по научным описаниям, тот скажет: да, это так и было, но никакого чуда не было. С бесноватыми, на евангельском языке, т. е. с нервными Иешуа проделывал те самые чудеса, которыми ещё недавно удивляли просвещённых европейцев Шарко и Льебо. Весьма вероятно, что Иешуа смутно сознавал природу и свойства гипноза, лишь в самое последнее время открытого в свете точной науки, но пользовался этой силой сознательно, потому что обучал пользоваться ею своих ближайших друзей, и насколько успешны были уроки и талантливы ученики видно из яркой сцены (Деян. 3, 4-7), где с репортёрской добросовестностью описан сеанс гипнотического внушения.

IV

Все имена действующих лиц, а также все упоминаемые (например, в начале IV акта) имена и события собраны по разным, но только научным¹ источникам и, следовательно, в известном смысле, достоверны. Характеры действующих лиц развиты, конечно, произвольно, но в строгом соответствии с материалом, оставленным историей. Какие материалы? Симон был zelot, кананит, ревнитель, фанатик; для педанта этого должно быть мало, но достаточно было Кювье одной кости животного для определения его всего.

«Жупельных» слов избежать не удалось и я сознательно оставил, во-первых, несколько выражений, не имеющих в

¹ Великолепную фигуру Люция из фамилии Элиев Ламий я взял у А. Франса, в его трактовке: пользуясь случаем, прошу прощения у обаятельного *mosieur Anatol* за то, что не испросил на это его предварительного согласия и разрешения: некоторое расстройство почтовых сообщений между Россией и Францией помешало мне сделать это своевременно.

русском языке даже приблизительного эквивалента, как например: атриум, мейсиф, а во-вторых, например, такое выражение, как шолом-алеихем, которое уже для современников Иешуа было варваризмом, каким, например, для нас русских является «исполать» — переродок греческого «ис полла эти».

Иное дело вопрос о транскрипции имён вообще. Стремясь восстановить реалистическую истину, я прежде всего должен был восстановить реальные имена и принять поэтому подлинно иудейского Накдимона, а не греческого Никодима, Шаула, а не Павла или Савла и т. д. Это старый спор, но далеко ещё не оконченный и я считаю, что французам нет никакой надобности коверкать Москва в Моску, как нам Наполи в Неаполь, а Чарльза в Карла: это ясно с того момента, когда мы отказались от мысли переделать Нью-Йорк в Новый Ёрик, а Барселону в Барсалонью в подражание отечественной Маланьи или Фетиньи.

V

Для пьесы взяты три дня последнего пребывания Иешуа в Иерусалиме. *Развитие фабулы проведено в точном соответствии с каноническими произведениями.* Мне могут поставить в упрёк произвольное толкование эпизода с блудницей; да, согласен, что он мог произойти в предыдущее посещение Иерусалима, но подлинную сущность его, мне кажется, я разгадал правильно. Зачем было саддукеям приводить к Иешуа постороннюю незнакомую женщину, уличённую в прелюбодеянии? Какую ловушку они могли ему сделать в таком случае? Какого особенного ответа они могли ждать от него? Избиение камнями, вода ревности; и разве не чувствуется явное глумление в вопросе: а ты что скажешь? Блудница была какая-то особенная и притом из враждебного, следовательно, близкого к галлилеянам лагеря, иначе её не стали бы, нарушая закон, всенародно позорить. Её не привели, как полагается, с мужчиной, он ушёл, его, следовательно, не могли или не посмели схватить, а кого могла бояться в своём городе толпа всемогущих аристократов?

Предвижу ещё упрёк в произвольном истолковании отношений Иуды и Иешуа: их я определил от противного и категорически утверждаю: иначе быть не могло. Евангельская клевета о корыстных побуждениях разбита уже давно и основательно, а бесчисленными примерами история учит, что если из какой-либо заговорщицкой организации один из членов её уходит на сторону врагов или просто покидает организацию, то здесь всегда: или уязвлённое самолюбие, или разочарование в идеях, целях организации или личности вожака, или древняя борьба за самку, или всё это вместе в различных комбинациях. Иногда, правда, примешивается и корыстолюбие, но не как причина, а следствие. Людям этого рода не всегда так несчастливится как Иуде сыну Симона из Кериофа и иногда, после бурной жизни, полной действительно всевозможных предательств, иной уходит в историю с почётным титулом *славный* Сид Кампеадор. Отрывок из Лукреция в IV акте, меня упрекнул, переведён слишком, чересчур вольно. Да, сознаю это. Но самое главное — мысль не искажена, она лишь подчёркнута и вынута из скобок, которыми Лукреций должен был прикрыть её в угоду современному фанатизму.

VI

Не знаю, удалось ли мне выразить в I-ом акте всё то, что хотелось. Ранее утро. Тогдашняя жизнь начиналась с восходом солнца. На сцене весёлый, радостный и гордый Римпобедитель и угрюмый Израиль, враждебно глядящий на него в лице храмового привратника. Римляне расходятся по своим делам; появляются Фома, Иуда, и кажется, что со сцены потянуло промозглой сыростью и солнце сразу поплёкло. Дальше и дальше развёртывается картина, появляется новый и новый персонал, сверкает солнце, разгорается жаркий день, но сырость и мрак сгущаются на сцене.

Иешуа. Он уже разбит, но ещё не понимает этого. Вчера, когда он опрокидывал столы менял и разгонял со своими друзьями торговцев, он был, может быть, на волосок от победы, от восстания (Иуда во II акте это хорошо понимает), но сегодня он уже боится войти в храм (говорят, что этот день

он прятался и совсем не показывался в городе) и агитирует около него, почти под защитой римлян, на глазах которых его ущемляют вопросом о подати.

Чем объяснить явно сквозящую в действиях Иешуа 11, 12, 13 нисена нерешительность?

Единственно и только тем, что он безусловно верил в своё божественное происхождение. Если бы он был просто авантюрист-повстанец типа Иуды-Гавлонита или Симона бар-Кохбы, его действия были бы гораздо определённое и решительнее, последовательнее. Но вера в отца, чувствуемая в каждом его шаге, связывала его. Он действует, как лунатик, как шахматный игрок, играющий по руководству; с одной стороны, он идёт прямо и напролом, а с другой, — в решительную минуту он озирается на небо, ищет знамения, ищет поддержки свыше и, не находя её, охлаждает своих сторонников нерешительным: ещё не пришёл час. Он верил, верил слепо, фанатически; об этом говорит молитва до кровавого пота в следующую ночь, когда он напрягался в заклинаниях, призывах и внушениях. Каждый гипнотизёр знает и скажет, что означает эта молитва до кровавого пота. Он верил, он ждал до последней минуты, до последней секунды, и эта вера, это ожидание: — вот раскроется небо, вот, вот грянет знамение, — дали ему силы спокойно и даже гордо держаться и перед Синедрионом и перед Пилатом. Лишь на кресте в последний раз, как ему казалось, перед смертью, закрывая глаза, он не выдержал, заколебался и простонал: Эллой, Эллой, за что ты оставил меня? (почему не подал свою помощь).

Итак, с непонятной и невообразимой для нас смесью нерешительности и упрямой, слепой (напролом) настойчивости, Иешуа идёт ва-банк и штурмует Иерусалимскую твердыню. Оппозиция разбивает и компрометирует его эпизодом с блудницей. Иешуа ясно видит, что настроение сорвано, что сегодня ничего не выйдет и откладывает на завтра (конец I-го акта).

На завтра ему уже не придётся действовать. Хананы и Воэфусимы делают то, что всегда делает в таких случаях правительственная власть — арестовывают заговорщика.

II-ой и III-й акты в комментариях не нуждаются. Правильно мне сделают упрёк в том, что древне иудейский процесс против мейсифа, описанный хотя бы у Флавия (Иуд. в IV) у меня в III акте скомкан и изложен произвольно. В этом виновато Прокрустово ложе сцены.

VII

Самые сильные упрёки обрушатся на меня, вероятно, за V акт. Сказал и повторяю: он изложен у меня в точном соответствии к каноническим книгам. *Заполнены лишь пробелы.* Иешуа был распят приблизительно в 1 час дня. Весною солнце всходит в Палестине около 6 часов. Суд в Синедрионе был при дневном свете, значит приблизительно от 6 до 8-ми. В 8 пришли к Пилату. Расстояние несколько шагов. В 9 пошли к Ироду. Час-полтора провели у Ирода и в дороге (расстояние порядочное). Около 11-ти вернулись к Пилату. Споры, разбор, приговор, приготовление креста, шествие на Голгофу, выкапывание ям и проч. Иешуа не мог быть распят раньше первого часа дня, это же говорят Лука (23, 44) и Иоанн (9, 14), а в 5-6 он уже был снят. Он не мог умереть так скоро и Пилат это отлично понимал.

Центурион Петроний и его солдаты, на глазах которых прокуратор полдня отстаивал жизнь интересного галилеянина, державшего себя при том с подкупающим римлян спокойствием стойка, неужели не прониклись... ну хотя бы желанием услужить начальству. Да наконец совершенно не важно по каким причинам заведующий казнью офицер постарался всячески облегчить участь Иешуа, начиная от усыпляющего питья² и кончая отменой круифрагиума: важно то, что на дру-

² Ренан называет его «обычным при казнях этою рода». О, какая непростительная для Ренана грубая ошибка. Где, в каких источниках он нашёл этот «обычай». Наоборот, нравы и дух времени были таковы, что казнь всегда старались подчеркнуть, усугубить, боль удешевить, а страдания умножить (см. рассказ воина, 2-я картина, V акт), отнюдь же не уменьшать или смягчить!

гой день, в субботу 15 ниссена, слабый, больной, выздоравливающий Иешуа был жив.

VIII

Он был жив, да. Но куда же он девался? И на этот вопрос чувствую уверенность. Мне удалось дать правильный, соответствующий истине ответ в конце V акта. Знал ли Иешуа легендарную историю Ликурга? Вероятно — нет, и повторил он её бессознательно. С одной стороны, ему хотелось видеть своих любимцев, а с другой стороны — с какими глазами он мог показаться к ним после того, как обманул все их ожидания: ни Мессия-победитель, ни Мессия-страдалец не свёл на землю новое царство. Пророчества все исполнились, а... всё осталось по-прежнему. И вот создаётся новый, новозаветный вариант: Иешуа должен уйти к своему отцу, следовательно, исчезнуть с земли, а затем вместе с ним он придёт и т. д. И вот, урывками, чувствуя себя в смертельной опасности в пределах Иудеи, он видится украдкой со своими любимцами (как правдивы и жизненны Евангелия этих мест) и затем исчезает.

Куда?..

Об этом я, быть может, расскажу в следующем, где это и будет уместно, произведении, посвящённом возникновению христианства, по тем следам, которые сохранила история.

Нет никакого сомнения, что никогда Иешуа не задавался никакой абстракцией, никаким спиритуализмом; он мечтал о самом реальном царстве и ему ни на одну минуту не приходило в голову, что три человека: Иоанн, Симон, а затем вскоре Шаул из Тарса — один блестящий литератор, другой агитатор и третий организатор, увлечённые его личностью, гораздо успешнее его ударят в твердыню иудаизма и положат его именем основание огромной религии.

IX

Но если бы затея Иешуа увенчалась успехом, если бы каким-либо претиджитаторским приёмом, вроде пиротехнического эксперимента (Лук. 9, 29) подкинутой находкой, как

Симон бар-Кохба, или искусной диалектикой, он опрокинул бы своих противников и увлѣк бы за собой своей демагогией иерусалимскую чернь — кто скажет: каким Жижкой, Савонароллой, Маратом или Кромвелем он оказался бы на троне? Личность Симона бар-Гиора в 70 г. даёт об этом некоторое представление. Некоторые близорукие простаки полагают, что он действительно ввёл бы в своём царстве свою «великую любовь». Но, во-первых, кому же не ясно, что по времени и нравам это было эмоциональной невозможностью, а, во-вторых, его великая любовь во многих случаях была просто агитационным приёмом и это сразу в два приёма должен был понять Элий Ламия. Вспомним, что говорит, правда, сильно преувеличивая Ницше о людях *ressentiment* в «Генеалогии Морали» (произведении, где он меньше всего старается походить на Кузьму Пруткова).

Иешуа не скрывал своей административной программы и ту участь, которую он готовил своей оппозиции. Можно смело сказать, что она чересчур даже ясно излагалась в кровавых рефренах о Геене, о плаче и скрежете зубовном, о казнях и муках во всех его соответствующих притчах.

Обуреваемый всеми чувствами человека *ressentiment* (жажды мести) Иешуа стремился к трону, руководимый побуждениями, которые двигали в прошлом, двигают в настоящем и будут двигать в будущем во все времена, у всех народов, всех тиранов, узурпаторов.

И человечество почти две тысячи лет скорбящее о том, что не удалась лишняя потасовка — о, какая ирония. Какая грандиознейшая карикатура человеческой глупости.

Х

Я буду считать свою миссию наполовину исполненной, если этим произведением мне удастся нанести расшатанному, искалеченному, дряхлому и не могущему умереть приторному мифу о вочеловечившемся боге последний «удар милосердия».

Знаю, что меня много будут бранить за него, но когда-либо люди, разум которых раскрепостится от одного из нелепейших заблуждений, поблагодарят меня за эту книгу.

*Чевкин С. М.
Симбирск, 1920 г.*

Пьеса «ИЕШУА ГАНОЦРИ» представлена впервые в Симбирске на сцене городского большого Рабоче-Крестьянского театра 3-го марта 1922 г.

АНАТОЛЬ ФРАНС

ПРОКУРАТОР ИУДЕИ

Элий Ламия, уроженец Италии, отпрыск прославленного семейства, отправился в Афины изучать философию в том возрасте, когда юные патриции ещё носят претексту³. Вернувшись в Рим, Ламия поселился на Эсквилинском холме и, окружив себя такими же, как он сам, молодыми распутниками, предался всем наслаждениям жизни. Уличённый в преступной связи с Лепидой, супругой бывшего консула Сульпиция Квирина, он был изгнан цезарем Тиберием из Рима.

Элию Ламии шёл тогда двадцать четвёртый год. За семнадцать лет изгнания он изъездил Сирию, Палестину, Каппадокию, Армению и подолгу живал в Антиохии, Кесарии, Иерусалиме. Когда после смерти Тиберия императором стал Кай, Ламии было разрешено вернуться в Вечный город. Ему даже удалось получить назад часть своего имущества. Превратности судьбы умудрили его.

Он чуждался женщин лёгкого поведения, не искал почёта, не стремился к высоким должностям и уединённо жил в своём доме на Эсквилине, прилежно описывая всё примечательное, что ему удалось повидать во время дальних странствий; так он, по собственным его словам, украшал своё настоящее бедами прошедшего. Погружённый в эти мирные занятия и усердное изучение трудов Эпикура, Ламия с некоторым удивлением и лёгкой грустью обнаружил, что к нему приблизилась старость. На шестьдесят втором году жизни, страдая весьма мучительным ревматизмом, он отправился на воды в Байи. Это побережье, милое некогда морским ласточкам, в ту пору, о которой идёт речь, привлекало к себе богатых и падких до развлечений римлян. Никого не зная в их блистательной толпе, Ламия первую неделю прожил в полном одиночестве. Однажды после обеда, почувствовав при-

³ Претекста — белая тога, окаймлённая пурпурной полосой, которую носили в Древнем Риме до достижения совершеннолетия юноши из знатных семей.

лив бодрости, он решил побродить по холмам, вздымающимся над морем и, подобно вакханкам, увитым виноградными лозами.

Достигнув вершины какого-то холма, он сел на обочине тропинки под терпентиновым деревом и погрузился в созерцание прекрасного пейзажа. Слева, до самых кумских развалин, простирались свинцово-серые бесплодные Флегрейские поля. Справа Мизенский мыс, как острая шпора, вонзался в Тирренское море. Внизу, несколько к западу, следуя изящному изгибу побережья, раскинулись богатые Байи — украшенные статуями виллы, сады, портики, мраморные террасы, спускающиеся к синим волнам, где резвились дельфины. Прямо перед Ламией, по ту сторону залива, золотилась в лучах уже заходящего солнца Кампанья, сверкали храмы, над которыми высились лавры Паузилиппона⁴, а на самом горизонте ласкал взоры Везувий.

Ламия вынул из складок тоги свиток и, растянувшись на земле, собрался приступить к чтению «Трактата о природе»⁵, но, услышав окрики одного из рабов, тащивших в гору носилки, принуждён был встать и сойти с узкой, обсаженной виноградом тропы. Занавеси были отдернуты, и Ламия увидел откинувшегося на подушки тучного старца, который, подперев голову рукой, сумрачно и надменно смотрел вдаль. Его орлиный нос загибался к губам, подбородок и мощные челюсти резко выдавались вперёд.

Этот человек сразу же показался Ламии знакомым. Он секунду колебался, стараясь вспомнить его имя, потом внезапно бросился к носилкам.

— Понтий Пилат! — радостно и удивлённо воскликнул он. — Хвала богам, мне вновь довелось увидеть тебя!

4 Паузилиппон (ныне Позилиппо) — местность и грот неподалёку от Неаполя, где находилась вилла «Паузилиппон» (по-гречески — «Без забот»).

5 «Трактат о природе» — имеется в виду дидактическая поэма Тита Лукреция Кара, римского поэта и философа-материалиста I века до нашей эры «О природе вещей», представляющая собой популяризацию учения Эпикура.

Старик, знаком остановив рабов, внимательно посмотрел на незнакомца, приветствовавшего его.

— Понтий, гостеприимный мой хозяин! — продолжал тот. — За двадцать лет волосы мои так поседел, а щеки ввалились, что ты больше не узнаёшь своего Элия Ламию.

Услышав это имя, Понтий Пилат с поспешностью, допускаяемой его старческими немощами и грузным телосложением, сошёл с носилок и дважды облобызал Элия Ламию.

— Я от всего сердца рад нашей встрече, Ламия, — сказал он. — Увы! Ты напоминаешь мне те давние дни, когда я был прокуратором Иудеи в провинции Сирии. Тридцать лет прошло с тех пор, как я впервые увидел тебя. Это было в Кесарии, куда ты приехал, пытаясь развеять тоску изгнания. Мне удалось немного смягчить её, и ты из дружеских чувств последовал за мной в Иерусалим, где иудеи наполнили моё сердце горечью и отвращением. Более десяти лет ты был моим гостем и другом; наши беседы о Вечном городе скрашивали тебе — твоё несчастье, мне — моё высокое положение.

Ламия снова обнял его:

— Ты не всё сказал, Понтий. Ты умолчал о том, что употребил в мою пользу своё влияние на Ирода Антипу и вдобавок великодушно открыл мне свой кошелёк.

— Об этом не стоит говорить, — ответил Понтий, — ибо, вернувшись в Рим, ты немедленно отослал мне с вольноотпущенником такую сумму, которая с избытком покрыла всё, что ты у меня взял.

— Я считаю, Понтий, что никакие деньги не могут покрыть мой долг тебе. Но скажи мне, исполнились ли, по милости богов, твои желания? Наслаждаешься ли ты столь заслуженным тобою счастьем? Поведай мне о своём семействе, о здоровье и судьбе.

— Я удалился на покой в Сицилию, выращиваю там на своих землях пшеницу и продаю её. Моя старшая дочь, моя дорогая Понтия, овдовела и, поселившись у меня, ведёт всё хозяйство. Благодарение богам, разум мой не угас, память не ослабела. Но старость всегда приходит в сопровождении множества невзгод и болезней. Меня жестоко терзает подагра, и ты встретил меня здесь потому, что я приехал искать в

этих местах исцеления своего недуга. Раскалённые Флегрейские поля, где по ночам из земли вырывается пламя, источают жгучие серные пары, которые будто бы утоляют боли в суставах и возвращают им гибкость. Так, по крайней мере, утверждают врачи.

— Да помогут тебе боги убедиться в этом на собственном опыте, Понтий! Но, несмотря на подагру и её ядовитое жало, ты выглядишь моим сверстником, а ведь ты на десять лет старше меня. Даже в лучшие свои годы я не был так бодр, как ты сейчас, и я счастлив, видя тебя в таком цветущем состоянии. Объясни же мне, дорогой друг, почему ты преждевременно отказался от общественных должностей? Почему, по окончании срока твоего правления в Иудее, ты поселился на сицилийских землях и обрёл себя добровольному изгнанию? Расскажи мне, какие события произошли в твоей жизни с тех пор, как я перестал быть их свидетелем. Когда я уехал в Каппадокию, где надеялся поправить свои дела, занявшись разведением лошадей и мулов, ты как раз готовился подавить восстание самаритян. С того времени я больше тебя не видел. Удалось ли тебе их усмирить? Расскажи мне, поделись со мной. Меня интересует всё, что касается тебя.

Понтий печально покачал головой:

— Побуждаемый заботой об общем благе и чувством долга, я исполнял свои обязанности не только с рвением, но и с любовью. И всё же меня неустанно преследовала ненависть. Интриги и клевета надломили мою жизнь, когда она была в полном соку, и не дали созреть принесённым ею плодам. Ты спрашиваешь меня о восстании самаритян. Сядем сюда на пригорок. Я буду немногословен. Эти события я помню так отчётливо, словно они случились вчера.

Некий плебей, наделённый даром красноречия (а таких в Сирии немало), уговорил самаритян собраться с оружием в руках на горе Гаризим, почитаемой жителями этой страны, предварительно пообещав им показать священные сосуды, которые иудейский герой, вернее — полубог, Моисей спрятал

там в древние времена Эвандра⁶ и нашего праотца Энея⁷. Подстрекаемые его обещанием, самаритяне взбунтовались. Но мне заранее донесли обо всём и я отдал приказ отрядам пехоты занять гору, а всадникам — охранять подступы к ней.

Эти меры предосторожности оказались своевременными. Бунтовщики уже осадили городок Тирахабу у подножия горы Гаризим. Я легко рассеял их и подавил восстание в самом зародыше. Потом, дабы не проливая крови введённых в обман, вместе с тем проучить мятежников, я приказал казнить главарей заговора. Но, Ламия, тебе хорошо известно, в каком подчинении держал меня проконсул Вителлий, который, управляя Сирией не для блага Рима, а во вред Риму, считал, что тетрархи могут хозяйничать в римской провинции, как в собственном поместье. Вожди самаритян, припав к его стопам, излили ему свою ненависть ко мне. По их словам, у них и в помыслах не было нарушить долг верности цезарю. Это я был повинен во всём, и Тирахабу они окружили только для того, чтобы воспротивиться моей жестокости. Вителлий внял их жалобам и, поручив дела Иудеи своему другу Марцеллу, приказал мне ехать в Рим и представить оправдания императору. Снедаемый горем и обидой, я отплыл в Рим. Когда я достиг берегов Италии, Тиберий, утомлённый бременем лет и власти, умер на Мизенском мысе, чей длинный рог, окутанный вечерней дымкой, виден с этого холма. Я искал правосудия у Кая, его преемника, наделённого живым умом и тонко разбиравшегося в сирийских делах. Но, Ламия, подивись упорству, с которым судьба стремилась меня погубить. Кай в то время был неразлучен с иудеем Агриппой, другом своего детства, человеком, которым он дорожил, как зеницей ока. Агриппа же покровительствовал Вителлию, потому что Вителлий враждовал с ненавистным Агриппе Иродом Антипой. Император внял наветам своего дражайшего азиата и не

⁶ Эвандр (Евандр) — герои италийских сказаний, за 60 лет до Троянской войны основавший колонию на Палатинском холме — одном из семи холмов, на которых стоит Рим.

⁷ Эней (*антич. миф.*) — один из главных защитников Трои во время Троянской войны; легендарный родоначальник римлян.

пожелал даже выслушать меня. Пришлось мне примириться с незаслуженной немилостью. Подавив рыдания, я удалился, исполненный горечи, в своё сицилийское поместье, где умер бы от скорби, если бы моя кроткая Понтия не поспешила туда, чтобы утешить своего отца. Я сею пшеницу и снимаю самые обильные во всей провинции урожаи. Моя жизнь близится к концу. Пусть же потомки рассудят нас с Вителлием.

— Понтий, — ответил Ламия, — я убеждён, что по отношению к самаритянам ты действовал со свойственной тебе прямою и единственно в интересах Рима. Но не поддался ли ты и в этом случае одному из тех порывов необузданного гнева, которым ты никогда не мог противостоять? Хотя я моложе тебя и, стало быть, моя кровь была тогда горячее твоей, однако ты, конечно, помнишь, что я не раз советовал тебе проявлять к иудеям милосердие и кротость.

— Кротость по отношению к иудеям! — воскликнул Понтий Пилат. — Плохо же ты знаешь этих врагов рода человеческого, хотя и прожил немало лет в их стране. Высокомерные и рабелепные, сочетающие отвратительную трусость с тупым упрямством, они одинаково недостойны как ненависти, так и любви. Ламия, мой ум сформировался под влиянием принципов божественного Августа. В ту пору, когда я был назначен прокуратором Иудеи, величие Римской империи уже умиротворило народы. Времена наших гражданских распрей были позади, и проконсулы уже не смели грабить провинции во имя личной выгоды. Я знал свой долг. Мною руководила одна лишь мудрая умеренность. Беру богов в свидетели: упорствовал я лишь в кротости. Но что получил я в награду за свои благие намерения? Ламия, ты видел меня, когда в самом начале моего правления разразился первый бунт. Ты, несомненно, хорошо помнишь всё, что тогда произошло. Гарнизон Кесарии готовился расположиться на зимние квартиры в Иерусалиме. Знамена легионеров были украшены изображениями цезаря. Это зрелище оскорбило жителей Иерусалима, не признававших божественности цезаря, хотя раз уже нельзя не повиноваться, то не почётнее ли повиноваться богу, чем человеку? В моё судилище пришли священники и с надменным смирением стали просить о том, чтобы я

повелел вынести знамёна за пределы святого города. Движимый уважением к божественной особе цезаря и к величию империи, я отверг прошение. Тогда чернь, присоединившись к священникам, собралась у претория и начала оглашать воздус угрожающими выкриками. Я приказал воинам составить копьё пирамидой возле башни Антония, вооружиться, наподобие ликторов, связками прутьев и секирами и разогнать наглый сброд. Но иудеи продолжали взывать ко мне, невзирая на свистящие лозы, а самые упрямые ложились на землю и, обнажив грудь, умирали под розгами. Ты был тогда свидетелем моего унижения, Ламия. По распоряжению Вителлия я должен был отправить знамёна назад в Кесарию. Что говорить, я не заслужил такого позора. Клянусь бессмертными богами, за всё время моего правления я ни разу не нарушил закона и справедливости. Теперь я состарился. Моих врагов и хулителей нет в живых. Я умру неотомщённым. Кто обелит моё имя?

Он застонал и умолк.

— Мудрость повелевает нам не страшиться туманного грядущего и не возлагать на него никаких надежд, — ответил Ламия. — Какое нам дело до того, что подумают о нас люди? Кого, кроме самих себя, можем мы взять в судьи и свидетели своих деяний? Почерпни же спокойствие в сознании собственной добродетели, Понтий Пилат. Удовольствуйся тем, что ты сам себя уважаешь и что тебя уважают твои друзья. К тому же нельзя управлять народами с помощью одной лишь кротости. У человеколюбия, проповедуемого философией, мало общего с деятельностью государственных мужей.

— Отложим этот разговор, — сказал Понтий. — Серные испарения, источаемые Флегрейскими полями, обладают большей силой, когда вырываются из земли, нагретой лучами солнца. Мне надлежит поторопиться. Прощай. Но раз уж мне посчастливилось встретить здесь друга, я хочу воспользоваться этой удачей. Элий Ламия, окажи мне честь и отужинай со мной завтра. Мой дом стоит у самого моря, на окраине города со стороны Мизенского мыса. Ты легко распознаешь его по портику, над которым живописец изобразил Орфея, укрощающего львов и тигров звуками лиры.

— До завтра, Ламия, — повторил он, всходя на носилки.
— Завтра мы вернёмся к разговору об Иудее.

На следующий день, когда настало время ужина, Ламия отправился к Понтию Пилату. В триклинии⁸ были приготовлены только два ложа. На столе, убранном красиво, но без излишней роскоши, стояли серебряные блюда с лесными жаворонками в меду, певчими дроздами, лукринскими устрицами и сицилийскими миногами. Во время еды Понтий и Ламия расспрашивали друг друга о болезнях, жертвами которых стали, обсуждали их признаки и делились запасом сведений о разных целебных средствах против этих недугов. Затем, выразив радость по поводу своей встречи в Байях, они начали наперебой хвалить чистоту воздуха и красоты побережья. Ламия восхищался изяществом куртизанок, которые прогуливались по взморью, выставляя напоказ золотые украшения и длинные расшитые покрывала, привезённые из варварских стран. Но старый прокуратор горько сетовал на расточителей, которые — ради бесполезных камней, ради тканей, похожих на паутину, хотя выткали их люди, — швыряли римские деньги и позволяли им уплывать в чужеземные края, порою враждебные. Потом они заговорили об огромных работах, проведённых в этой местности, о поразительном мосте, которым Кай соединил Путеолы с Байями, о каналах, прорытых Августом и подводящих морские воды к Авернскому и Лукринскому озёрам.

— Я тоже собирался предпринять большие работы, которые принесли бы пользу населению, — со вздохом сказал Понтий. — Когда меня, на моё несчастье, назначили прокуратором Иудеи, я решил построить акведук длиной в двести стадий⁹, дабы обильно снабдить Иерусалим чистой водой. Я изучил всё, что касается высоты уровней, ёмкости резервуаров, уклонов стенок медных водосборников, к которым под-

⁸ Триклиний — зал (столовая), где, возлегая, по обычаю, на ложах, ели древние римляне.

⁹ Стадия (или стадий) — древнегреческая мера длины (около 200 метров).

водятся распределительные трубы, и, посоветовавшись с механиками, сам разработал план. Я подготовил правила для речной стражи, призванной следить за тем, чтобы ни одно частное лицо не могло незаконно пользоваться орошением. Я выписал зодчих и рабов и уже отдал приказ приступить к работам. Но вместо того чтобы с удовлетворением взирать на акведук, который, покоясь на мощных арках, должен был вместе с водой принести здоровье в Иерусалим, иудеи подняли горестный вой¹⁰. Беспорядочная толпа, вопя о святотатстве и богохульстве, напала на строителей и разрушила каменный фундамент. Видел ты когда-нибудь, Ламия, более гнусных варваров? А вот Вителлий внял их жалобам и приказал мне прекратить работы.

— Большой вопрос, следует ли оказывать людям благодеяния против их воли, — заметил Ламия. Не слушая его, Понтий Пилат продолжал:

— Отказаться от акведука, какое безумие! Но всё, что исходит от римлян, противно иудеям. Они считают нас нечестными, и самое наше присутствие в Иерусалиме кажется им кощунством. Тебе известно, что, боясь осквернить себя, они не входили в преторий и что я был вынужден править суд под открытым небом, на мраморных плитах, по которым так часто ступали твои сандалии.

Иудеи боятся нас и презирают. Между тем разве Римская империя не покровительница, не мать всех народов, которые, улыбаясь, покоятся на её благословенной груди? Наши орлы¹¹ принесли мир и свободу на самые глухие окраины земли. Рассматривая побеждённых лишь как своих друзей,

¹⁰ ...иудеи подняли горестный вой. — Деньги на строительство акведука Понтий Пилат взял из фондов храма. По подстрекательству священников в городе вспыхнул мятеж, во время которого по приказу Понтия Пилата очень многие, как свидетельствует Иосиф Флавий, были убиты или изувечены.

¹¹ Наши орлы... — Орёл был военным значком римского легиона, Помпей Великий, Гней (106—48 до нашей эры) — римский полководец и политический деятель; в 64 году до нашей эры объявил Сирию римской провинцией и без сопротивления занял её.

мы предоставляем и обеспечиваем завоёванным народам право жить по их собственным законам и обычаям. Разве Сирия, которую в былые времена терзали распри бесчётных царей, не начала вкушать покой и благоденствие только после того, как её покорил Помпей? Разве Рим покусился на сокровища, которыми изобилуют храмы варваров, хотя он мог бы потребовать золота взамен своих милостей? Разве отнял он хоть что-нибудь у Великой матери богов в Пессинунте, у Юпитера в Моримене и Киликии, у иудейского бога в Иерусалиме? Антиохия, Пальмира, Апамея наслаждаются полным спокойствием и, более не страшась арабов, жителей пустыни, воздвигают храмы в честь Гения¹² — покровителя Рима и в честь божественной особы императора. Одни только иудеи ненавидят нас и смеют бросать нам вызов. Они платят дань лишь по принуждению и упрямо уклоняются от военной службы.

— Иудеи, — возразил Ламия, — очень привержены к своим древним обычаям. Они подозревали тебя в том, что ты хочешь уничтожить их законы и изменить нравы. Эти подозрения были неосновательны, я согласен, но позволь мне всё же сказать тебе, Понтий, что не всегда ты действовал так, чтобы рассеять это печальное заблуждение. Порою тебе словно нравилось разжигать гнев иудеев, и не раз при мне ты открыто проявлял презрение к их верованиям и богослужению. Особенно ты злил их тем, что приставил охрану из легионеров к башне Антония, где хранились одежда и украшения, которые иудейский первосвященник должен был носить в храме. Хотя, в отличие от нас, иудеи не достигли высот истинной веры, но всё же таинства их религии весьма почтенны хотя бы уже одной своей древностью.

Понтий Пилат пожал плечами.

— Они не понимают, — сказал он, — сущности богов. Они поклоняются Юпитеру, но он не имеет у них ни имени, ни образа. Они не способны изобразить его даже в виде про-

¹² Гений (*рим. миф.*) — добрый дух, хранитель человека. Своего гения-покровителя имели города, семьи, общины и народы. На форуме в Риме стояла статуя гения Римского государства в виде мужчины в венке, с рогом изобилия и скипетром в руках.

стого камня, как это делают некоторые азиатские народы. Они не ведают Аполлона, Нептуна, Марса, Плутона, не ведают ни одной из богинь. Впрочем, мне кажется, что когда-то они поклонялись Венере, так как и донныне иудейские женщины приносят на жертвенный алтарь горлиц, и ты знаешь не хуже меня, что торговцы, стоя под портиком храма, продают этих птиц попарно для жертвоприношений. Однажды мне даже донесли, что какой-то одержимый изгнал из храма этих торговцев¹³. Священники принесли жалобу на него, как на осквернителя святыни. Я думаю, что обряд принесения в жертву голубок сохранился с тех пор, когда иудеи почитали Венеру. Почему ты смеёшься, Ламия?

— Я смеюсь потому, — сказал Ламия, — что мне в голову вдруг взбрела забавная мысль. Я подумал, что в один прекрасный день иудейский Юпитер явится в Рим и начнёт преследовать тебя своей ненавистью. Почему бы и нет? Азия и Африка подарили нам уже многих своих богов. В Риме воздвигнуты храмы в честь Изиды¹⁴ и собакоголового Анубиса¹⁵. На перекрёстках и даже на ристалищах мы видим изображение доброй богини сирийцев¹⁶, восседающей на осле. И ты не можешь не знать о том, что во время принципата¹⁷ Тиберия

¹³ ...какой-то одержимый изгнал из храма этих торговцев. — Намёк на евангельскую легенду об изгнании Иисусом торговцев из Иерусалимского храма.

¹⁴ Изида (Исида) — в древнеегипетской мифологии супруга и сестра Осириса, мать Гора, олицетворение верности и материнства, богиня плодородия, воды и волшебства; изображалась с головой или рогами коровы.

¹⁵ Анубис — древний египетский бог — покровитель мёртвых; изображался в облике волка, шакала или человека с головой шакала (собаки).

¹⁶ Добрая богиня сирийцев. — Речь идёт о сирийской богине (Сириа Деа), культ которой имеет сирийско-финикийское происхождение; в нем смешались образы различных богинь.

¹⁷ Принципат — существовавшая с 27 до нашей эры по 193 год нашей эры форма рабовладельческой монархии в Древнем Риме, при которой ещё сохранялись некоторые республиканские tradi-

некий юный всадник выдал себя за рогатого Юпитера египтян¹⁸ и добился в таком обличье благосклонности одной знатной матроны, слишком добродетельной, чтобы отказать в своих милостях богу. Смотри, Понтий, как бы незримый Юпитер иудеев не вздумал высадиться в Остии¹⁹!

При мысли о том, что в Рим может прийти бог из Иудеи, суровый прокуратор сдержанно улыбнулся. Потом он сказал уже вполне серьёзно:

— Как могут иудеи распространить свою веру среди других народов, если они не способны договориться между собой об едином её толковании и разделены на десятки враждующих сект? Ты видел их, Ламия, когда, собравшись на площадях и не выпуская из рук свитков, они бранились и таскали друг друга за бороды. Ты видел их у колоннады храма, когда, окружив какого-нибудь безумца, охваченного пророческим бредом, они разрывали на себе в знак скорби засаленные одежды. Иудеи не представляют себе, что можно спокойно и безмятежно обсуждать вопросы, касающиеся наших верований, вопросы, окутанные туманом и нелегко поддающиеся решению. Ибо сущность бессмертных богов скрыта от нас и нам не дано её познать. Всё же я думаю, что веровать в покровительство богов благоразумно. Но иудеям недоступна философия, и они не терпят различий во взглядах. Напротив, они считают достойным самой страшной казни всякого, кто не согласен с их вероучением. А поскольку с тех пор, как Рим покорил их страну, смертные приговоры, произнесённые иудейскими судами, могут быть приведены в исполнение только с согласия проконсула или прокуратора, то эти люди вечно надоедают правителям просьбами подтвердить их же-

ции, но фактическая власть принадлежала одному человеку — принцепсу, то есть первому в списке сенаторов.

¹⁸ ...за рогатого Юпитера египтян... — Согласно античному преданию, этот римлянин выдал себя за Анубиса, не имевшего, однако, рогов. «Рогатый Юпитер египтян» — древний египетский бог Осирис, бог умирающей и воскресающей природы; изображался с головой быка.

¹⁹ Остия — город в устье реки Тибра, гавань Рима.

стокие решения, и преторий гудит от кроважанных воплей. Сотни раз приходилось мне наблюдать, как богатые иудеи бок о бок с бедняками яростно бросались вслед за священниками к моим носилкам из слоновой кости и, теребя меня за край тоги, за ремни сандалий, выпрашивали, требовали казни какого-нибудь несчастного, который, по моему разумению, не совершил ничего преступного и просто был сумасшедшим — таким же сумасшедшим, как и его обвинители. Что я говорю — сотни раз! Это зрелище повторялось ежедневно, ежедневно. Подумать только: я был обязан исполнять их законы, как наши собственные, ибо Рим послал меня к ним не затем, чтобы ниспровергать, а затем, чтобы охранять их обычаи, и я был над ними, как связка прутьев и секира. Вначале я пытался взывать к их разуму, силился уберечь жертву от казни. Но моё милосердие лишь разжигало иудеев: подобно стервятникам, они требовали своей добычи, хлопая вокруг меня крыльями и разевая клювы. Священники писали цезарю, что я попираю их законы, и эти жалобы, поддержанные Вителлием, навлекали на меня суровое порицание. Сколько раз мною овладевало желание собрать вместе обвиняемых и обвинителей и, по выражению греков, накормить ими воронов!

Не думай, Ламия, что я питаю бессильную ненависть и старческую злобу к этому народу, который, победив меня, победил в моём лице Рим и миролюбие. Просто я предвижу тяжкие беды, в которые рано или поздно нас ввергнут иудеи. Раз ими нельзя управлять, их придётся уничтожить. Можешь не сомневаться: непокорённые, вечно бунтующие в глубине своих воспламенённых сердец, они когда-нибудь поднимут против нас такой мятеж, по сравнению с которым гнев нумидийцев и угрозы парфян²⁰ покажутся детскими забавами. Они

²⁰ ...гнев нумидийцев и угрозы парфян... — Нумидийцы — жители Нумидии, исторической области в Северной Африке (восточная часть современного Алжира), превращённой в 46 году до нашей эры в римскую провинцию; в 17 году они подняли восстание, которое удалось подавить только через 7 лет. Парфяне — иранское племя, образовали государство (250 до нашей эры — 224 г. нашей

втайне лелеют бессмысленные надежды и, как последние глупцы, замышляют повергнуть нас во прах. Да и может ли быть иначе, если, уверовав в какое-то предсказание, они ждут пришествия царя, своего соплеменника, который станет владыкой мира²¹? Справиться с этим народом невозможно. Его нужно уничтожить. Нужно стереть Иерусалим с лица земли. Как я ни стар, мне всё же, быть может, будет дано дожить до того дня, когда стены его рухнут, дома запылают, жители погибнут²² на остриях копий, а площадь, где прежде стоял храм, будет посыпана солью.

Ламия попытался смягчить тон беседы.

— Понтий, — сказал он, — мне нетрудно понять и твою обиду за прошлое и твою тревогу за будущее. Конечно, те черты характера иудеев, с которыми тебе пришлось столкнуться, говорят не в их пользу. Но я, живший в Иерусалиме как сторонний наблюдатель, я много сталкивался с ними, и мне довелось обнаружить в этих людях скромные достоинства, скрытые от твоих глаз. Я знал иудеев, исполненных кротости, иудеев, чистые нравы и верные сердца которых приводили мне на память сказания наших поэтов о старце из

эры), занимавшее в период расцвета территорию от Двуречья до реки Инд; оно было главным соперником Рима на востоке.

²¹ ...ждут пришествия царя... который станет владыкой мира. — В евангелиях содержатся красочные описания радостной экзальтации толпы, уверовавшей, что Иисус и есть тот мессия и новый царь израильский, пришествие которого принесёт еврейскому народу освобождение от власти римлян.

²² ...дожить до того дня, когда стены его рухнут, дома запылают, жители погибнут... — А. Франс вкладывает в уста Понтия Пилата пророчества грядущих событий: в 66–73 годах в провинции Иудее поднялось антиримское восстание, известное в истории как Иудейская война. После пятимесячной осады римляне, воспользовавшись междоусобной борьбой религиозных и политических группировок в Иудее, захватили и разрушили Иерусалим и Иерусалимский храм.

Эбалии²³. Да и ты сам, Понтий, видел, как умирали под ударами твоих легионеров простые люди, которые, не называя своих имён, отдавали жизнь за дело, казавшееся им праведным. Такие люди отнюдь не заслуживают нашего презрения. Я говорю так потому, что всегда следует соблюдать беспристрастие и справедливость. Должен, однако, признаться, что всё же я не чувствовал к иудеям особенного расположения. Зато иудейки мне очень нравились. Я был тогда молод, и сирийские женщины волновали мои чувства. Их пунцовые губы, влажный блеск их затенённых глаз, их долгие взгляды приводили в трепет всё моё существо. Эти женщины, набелённые и нарумяненные, умищённые народом и миром, утопающие в благовониях, дарили редкостное и незабываемое наслаждение.

Понтий нетерпеливо слушал излияния Ламии.

— Не таким я был человеком, чтобы попасться в сети к иудейкам, — ответил он. — И уж если об этом зашла речь, то я должен тебе сказать, Ламия, что никогда не одобрял твоей неводержанности. Я считал, что, соблазнив жену бывшего консула, ты совершил тяжкий проступок, и не укорял тебя в те времена только потому, что ты и без того в полной мере искупал свою вину. Патриций должен свято чтить брак, ибо в браке источник мощи Рима. Что касается рабынь или чужеземок, то связь с ними простительна, если только наша плоть не заставляет нас при этом поддаваться постыдной слабости. Позволь мне тебе заметить, что ты приносил слишком много жертв на алтарь площадной Венеры. Особенно же я порицаю тебя, Ламия, за то, что ты не вступил в брак и не дал республике детей, тем самым нарушив долг, священный для каждого достойного гражданина.

²³ *Старец из Эбалии...* — Эбалия — поэтическое название города Тарента (современный Таранто) в Южной Италии. Вергилий в своей поэме «Георгики» («Поэма о земледелии», 36–29 г. до н. э.) создал идиллический образ трудолюбивого старца из Тарента, живущего мирной, патриархальной жизнью.

Но изгнанный Тиберием грешник больше не слушал старого прокуратора. Осушив кубок фалернского вина, он улыбался какому-то незримому видению.

Немного помолчав, он вновь заговорил, сперва почти шёпотом, затем всё громче и громче:

— Как много неги в плясках сирийских женщин! Я знавал в Иерусалиме одну иудейку²⁴: высоко подняв кимвал²⁵, вся изогнувшись, запрокинув голову, которую словно оттягивали назад густые рыжие волосы, полузакрыв затуманенные страстью глаза, она плясала в жалком вертепе, на убогом ковре, при свете чадающего фитиля — такая пылкая, томная и гибкая, что от зависти побледнела бы сама Клеопатра. Я любил её варварские пляски, её песни, гортанные и в то же время ласкавшие слух, запах фимиама, исходивший от неё, дремоту, в которой она, казалось, жила. Я повсюду следовал за ней, смешиваясь с толпой солдат, фигляров, откупщиков, которыми она всегда была окружена. Потом она вдруг исчезла, и больше я её не видел. Долго я разыскивал её по грязным закоулкам и в тавернах. От неё было труднее отвыкнуть, чем от греческого вина. Прошло несколько месяцев — и я случайно узнал, что она присоединилась к кучке мужчин и женщин, последователей молодого галилейского чудотворца. Звали его Иисус Назарянин²⁶. Потом за какое-то преступле-

²⁴ Я знавал в Иерусалиме одну иудейку... — намёк на Марию Магдалину.

²⁵ Кимвал — древний музыкальный инструмент, состоящий из двух медных тарелок.

²⁶ Иисус Назарянин — в последнем издании новеллы А. Франс написал: «Иисус Назарей» и добавил такое замечание: «Иисус называл себя „Назореем“, то есть святым. В предыдущих изданиях говорилось: Иисусом из Назарета (то есть Назарянином. — *Прим. сост.*), но, кажется, в первом веке нашей эры такого города не было». (Цит. по кн.: Франс А. Собр. соч.: В 8-ми т. Т. 2, пер. Н. Яковлевой). Современный итальянский учёный А. Донини высказывает аналогичное соображение, опираясь на факт, что город Назарет не упоминается ни одним иудейским автором ранее IX века нашей эры. Он пишет: «Весьма похоже, что Назарет как родина Иисуса

ние его распяли на кресте. Понтий, помнишь ты этого человека?

Понтий Пилат нахмурился и поднёс руку ко лбу жестом человека, роющегося в памяти. После нескольких секунд молчания он произнёс:

— Иисус? Иисус Назарянин? Нет, что-то не помню.

Le Procureur de Judée, 1891

Перевод: Э. Линецкая

был „изобретён“ на основе ложной этимологии слова „назарянин“ (или, „назорей“), которое означает некую местную секту, „чистых“ и, „аскетов“». (Цит. по кн.: Донини А. У истоков христианства. М., 1979, с. 20.)

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ

СТУДЕНТ

Погода вначале была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку. Протянул один вальдшнеп, и выстрел по нём прозвучал в весеннем воздухе раскатисто и весело. Но когда стемнело в лесу, некстати подул с востока холодный пронизывающий ветер, всё смолкло. По лужам протянулись ледяные иглы, и стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо. Запахло зимой.

Иван Великопольский, студент духовной академии, сын дьячка, возвращаясь с тяги домой, шёл всё время заливным лугом по тропинке. У него заоченели пальцы, и разгорелось от ветра лицо. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всём порядок и согласие, что самой природе жутко, и оттого вечерние потёмки ступились быстрее, чем надо. Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно. Только на вдовьих огородах около реки светился огонь; далеко же кругом и там, где была деревня, версты за четыре, всё сплошь утопало в холодной вечерней мгле. Студент вспомнил, что, когда он уходил из дому, его мать, сидя в сенях на полу, босая, чистила самовар, а отец лежал на печи и кашлял; по случаю страстной пятницы дома ничего не варили, и мучительно хотелось есть. И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнёта, — все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдёт ещё тысяча лет, жизнь не станет лучше. И ему не хотелось домой.

Огороды назывались вдовьими потому, что их содержали две вдовы, мать и дочь. Костёр горел жарко, с треском, освещая далеко кругом вспаханную землю. Вдова Василиса, высокая, пухлая старуха в мужском полушубке, стояла возле

и в раздумье глядела на огонь; её дочь Лукерья, маленькая, рябая, с глуповатым лицом, сидела на земле и мыла котёл и ложки. Очевидно, только что отужинали. Слышались мужские голоса; это здешние работники на реке поили лошадей.

— Вот вам и зима пришла назад, — сказал студент, подходя к костру. — Здравствуйте!

Василиса вздрогнула, но тотчас же узнала его и улыбнулась приветливо.

— Не узнала, бог с тобой, — сказала она. — Богатым быть.

Поговорили. Василиса, женщина бывалая, служившая когда-то у господ в мамках, а потом няньках, выражалась деликатно, и с лица её всё время не сходила мягкая, степенная улыбка; дочь же её Лукерья, деревенская баба, забитая мужем, только шурилась на студента и молчала, и выражение у неё было странное, как у глухонемой.

— Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Пётр, — сказал студент, протягивая к огню руки. — Значит, и тогда было холодно. Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!

Он посмотрел кругом на потёмки, судорожно встряхнул головой и спросил:

— Небось, была на двенадцати евангелиях?

— Была, — ответила Василиса.

— Если помнишь, во время тайной вечери Пётр сказал Иисусу: «С тобою я готов и в темницу, и на смерть». А господь ему на это: «Говорю тебе, Пётр, не пропоёт сегодня петел, то есть петух, как ты трижды отречёшься, что не знаешь меня». После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился, а бедный Пётр истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, и он никак не мог побороть сна. Спал. Потом, ты слышала, Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал его мучителям. Его связанного вели к первосвященнику и били, а Пётр, изнеможённый, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдёт что-то ужасное, шёл вслед... Он страстно, без памяти любил Иисуса, и теперь видел издали, как его били...

Лукерья оставила ложки и устремила неподвижный взгляд на студента.

— Пришли к первосвященнику, — продолжал он, — Иисуса стали допрашивать, а работники тем временем развели среди двора огонь, потому что было холодно, и грелись. С ними около костра стоял Пётр и тоже грелся, как вот я теперь. Одна женщина, увидев его, сказала: «И этот был с Иисусом», то есть, что и его, мол, нужно вести к допросу. И все работники, что находились около огня, должно быть, подозрительно и сурово поглядели на него, потому что он смутился и сказал: «Я не знаю его». Немного погодя опять кто-то узнал в нём одного из учеников Иисуса и сказал: «И ты из них». Но он опять отрёкся. И в третий раз кто-то обратился к нему: «Да не тебя ли сегодня я видел с ним в саду?» Он третий раз отрёкся. И после этого раза тотчас же запел петух, и Пётр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечери... Вспомнил, очнулся, пошёл со двора и горько-горько заплакал. В евангелии сказано: «И испещ вон, плакася горько». Воображаю: тихий-тихий, тёмный-тёмный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания...

Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, слёзы, крупные, изобильные, потекли у неё по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слёз, а Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у неё стало тяжёлым, напряжённым, как у человека, который сдерживает сильную боль.

Работники возвращались с реки, и один из них верхом на лошади был уже близко, и свет от костра дрожал на нём. Студент пожелал вдовам спокойной ночи и пошёл дальше. И опять наступили потёмки, и стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, в самом деле возвращалась зима, и не было похоже, что послезавтра Пасха.

Теперь студент думал о Василисе: если она заплакала, то, значит, всё, происходившее в ту страшную ночь с Петром, имеет к ней какое-то отношение...

Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было видно людей. Студент опять

подумал, что если Василиса заплакала, а её дочь смутилась, то, очевидно, то, о чём он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему — к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Пётр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра.

И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошрое, думал он, связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой.

А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкою полосой светилась холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы, — ему было только 22 года, — и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла.

1894

АЛЕКСАНДР МИТРОФАНОВИЧ ФЁДОРОВ ГЕФСИМАНИЯ

I

Я не знаю происхождения этого слова, но самые его звуки, их внутренняя музыка так удивительно соответствуют тому, что открывается за ним, что кажется, будто оно предназначено к тому свыше.

«Гефсимания!» — произношу я вслух, и душа моя наполняется печалью и нежностью.

С глубокой тоской похоронного звона оно невыразимо соединяет в себе кротость осенних звёзд, ароматы первых цветов и трав, и безмолвие ночи, знающей великую тайну. Это слово — целая поэма божественной скорби, и когда мне в Иерусалиме так просто указали и равнодушно произнесли «там Гефсимания», мне показалось это почти святотатством. Я поспешил избавиться от непрошенной услужливости и остался один.

«Какая досада! — с раздражением думал я. — И кто просил?»

Мне представлялось, что я сам узнаю, почувствую это место, когда буду подходить к нему, или случайно ступлю на его землю. Ребячество? Но есть чудеса, в которые хочешь верить, когда дело касается тонкостей, трудно определяемых словом, однако свойственных душе, не вполне свободной от мистических порывов.

Оставшись один, я не сразу подошёл к окну, за которым стены, крыши и купола иерусалимских храмов громоздились с вызывающей гордостью и скрывали от глаз ближайшие окрестности Иерусалима. Среди зданий я узнал пальму, одну только пальму, и это было непонятно трогательно. Ближе всех, как раз передо мною, возвышался православный храм, ничем не отличавшийся по своей архитектуре и относительной новизне от множества других храмов. Даже золотисто-

сизое реяние сумерек не могло затушевать свежести его красок и банальности линий.

Но дальше вечерние тени делали своё дело и, покрывая предметы, подобно лёгкой паутине, сообщали им мягкость, приятную однотонность и воздушность. Даже красноватые пятна крыш не бросались теперь в глаза с той светящейся яркостью, как это всегда бывает на юге днём; они приняли лиловатый вечерний тон и подчёркивали даль, за которой обрывался город и плавно-спокойной линией поднималась Елеонская гора. Справа, на склоне горы, и указано мне было место Гефсиманского сада.

Там сумерки ещё не успели слить предметы, краски и даже линии: я издали разбирал тёмные купы деревьев, особенно отчётливо выступавшие возле палевых стен и таких же кубиков часовен и домов, освещённых вечерней зарёю.

Эти купы деревьев и составляли то, что носит незабвенное и печальное имя — Гефсимания.

Но вот заря как-то сразу погасла, и вся окрестность потускнела и приняла облачный вид. Только храм Вознесения на вершине Елеонской горы выступал ещё более плоско и сухо, как огромный обелиск, воздвигнутый над гигантской могилкой прошлого.

Несмотря на сумерки, всегда отдаляющие предметы, Гефсимания, по-видимому, была совсем близко и, казалось, оттуда рукой подать до вершины Елеонской горы. По крайней мере, я не сомневался, что колокольный звон, донёсшийся до меня, был с Елеона.

В этот кроткий час, всегда заметный даже среди шумной суеты больших городов, обрывающейся на несколько минут как бы для раздумья или молитвы, тишина особенно чутко и внимательно приняла далёкий звон колокола с Елеонской горы.

Но в то самое время, как я вслушивался в этот звон, звук гонга, дробный и частый, как будто посыпался на меня и сразу вывел меня из задумчивости. Это был обычный зов к обеду. Тотчас после обеда я решил во что бы то ни стало пойти в Гефсиманию.

II

В дверь мою постучался кавас: маленький, седенький старичок, в пальто с чужого плеча, тоже как будто поседелом от старости.

«Не грозен же мой защитник», — подумал я.

Но в руке у него была шапка с медным значком, и, вероятно, этот значок должен был казаться разбойникам страшнее всякого оружия.

— Вот, — объяснил я ему, — вы меня проведёте в Гефсиманский сад и, может быть, на Елеонскую гору...

— Так, так, — ответил он с полной готовностью. — А почему вы, брато, туда идёте? Све (все) ночью туда не идут.

Он так невероятно коверкал слова, думая, что говорит по-русски. Я с трудом понимал его. Тем бесполезнее было ему объяснять.

— Так надо.

— Разве вы, брато, не боитесь разбойников?

— Не очень. Наконец, с вами мне что же бояться?

— Так, так, — подтвердил он, с добродушной гордостью. — Я, брато, черногорец, а черногорцы све ничего не бояться. Ни разбойников, ни даже худого зрака. Све черногорцы вояки. Я, — он ткнул себя пальцем в грудь и поднял свою маленькую головку, — я, брато, имею за русско-турску войну медали.

— Как вас зовут?

— Савва. Све так зовут: Савва.

— Так вот, Савва, пойдём.

— Пойдём, брато.

Я дунул на свечу, и в комнате сразу стало темно и холодно. В открытое окно тянуло сыростью от туч, которые клубились тяжело и удушливо, вспухали и как бы разрешались новыми тучами. Луна вырывалась из-за них и наполнила зеленоватым светом всю комнату, отчётливо вычерчивая на каменном полу правильным параллелограммом переплёт окна.

Вышли наружу.

Было не позже девяти часов вечера, но уже большинство лавок стояли запёртые, и улицы пустели. Только на

площади, около церкви, тяжело ступая и шаркая по каменным плитам, проходили богомольцы. Чёрная фигура священника двигалась навстречу вместе с тенью, которая как будто дразнила его, повторяя каждое движение, каждое трепетание его чёрной одежды, вздымаемой ветром.

Ветер дул сразу как будто со всех сторон, бросался назад, заставляя съёжиться от холода, и взмётывался до самых туч, разрывая их с бешеным беспокойством, как будто для того, чтобы взглянуть в мертвенно-бледное лицо луны. Слышно было, как ветер выл и свистел, проносясь по узким и кривым улицам Иерусалима, заражая их мрак и опустелость своей мятущейся тревогой.

Савва, быстро семеня рядом со мною маленькими, кривыми ногами, продолжал рассказывать мне о своих воинских доблестях и намерениях. Не хотелось обидеть старика и, хотя я понимал с трудом его язык, похожий на детский лепет, от времени до времени, однако, давал ему реплики.

Правда, Савве-черногорцу за пятьдесят, но доведись только война с Австрией, он и одного часа не проведёт здесь. Пусть он будет поганый турок, а не славянин, если останется, когда его братья будут сражаться с врагами.

Савва не забывает при этом повторять, что он человек маленький, но ведь и без маленьких людей не обойдёшься на войне. Вот жаль только, что сестра Руссия...

В кривых щелях улиц, где днём идёт шумная торговля разными мелочами и предметами благочестия, предназначенными главным образом для нищих паломников, теперь глухо, темно и сыро. Солнце днём бывает здесь только минутами, а лунный свет никак не может заглянуть сюда со стороны.

Нога спотыкается, скользит по мокрым и отшлифованным миллионами ног камням, которыми как будто сам дьявол вымостил улицы в Иерусалиме в насмешку над людьми. Мостовая то поднимается, то падает, то и дело попадают срывы вниз со ступеньками и без ступенек. Хоть бы один фонарь. Того и гляди, сломаешь себе ногу.

Пахнет грязью, нечистотами, затхлостью жилищ, где люди кишат днём, а ночью спят под каменными, удушливы-

ми сводами. Пахнет всевозможными товарами, и особенно маслом и свежим деревом.

Изредка из-за железной решётки окна светит огонь чадной лампы, еле-еле пробиваясь на улицу и ещё более наводя тоску на душу. Кажется, что идёшь мимо казематов, за почерневшими, осклизлыми стенами которых томятся узники.

Железные двери, железные решётки, промозглые камни. Всё это не было похоже ни на один виденный мною город и, несмотря на всю свою грязь, внушало уважение, независимо от его прошлого.

Вот особенно сильно запахло деревом. Широкая полоса красноватого света пересекает узкую улицу, набитую мраком. Открыты широкие двери. Я вижу столярную или плотничную мастерскую, где работают темнокожие, усталые люди.

Присматриваюсь, что делают. Гроб.

В Иерусалиме много умирает, особенно в это время и особенно русских православных паломников. И без того изнурённые, они здесь подвергают себя добровольному тяжкому посту. Сырые ветры, отравленные малярией и другими паразитами, несут им смерть.

Хочется поскорее вырваться отсюда, но изломы узких, тёмных улиц крутят нас направо, налево, вверх, вниз.

На одном из поворотов неожиданно возникает перед глазами мутное, длинное пятно; оно скользит навстречу: араб; полы длинного бурнуса слегка задевают меня в узком проходе.

— Салем.

— Салем.

Две-три таких встречи за всё время пути, и опять глухая тишина, в которой рад даже собачьему лаю. Иногда старая, низкая арка нависает на пути, и тогда кажется, чтоходишь в туннель.

Но вот, совершенно неожиданно, около последней арки обрывается узкая улица, и тяжёлая городская темнота остаётся позади.

Мы вошли в древние Дамасские ворота.

Я на минуту прислоняюсь к сырым, выветрившимся камням и чувствую как бы живое прикосновение их, от которого в тело проникает дрожь.

Мой кавас закуривает папиросу, красное пламя спички мгновенно проглатывается темнотой, и остаётся только одна светящаяся точка, озаряющая при каждой глубокой затяжке длинные седые усы на маленьком лице.

Сразу стало светлее и легче дышать. Луна вырвалась из облаков и освещает широкую дорогу; покрытый сыростью песок светится при лунном сиянии, тем чернее и мрачнее выделяется направо от дороги длинная, высокая стена; зубцы кое-где обломаны, и потому весь контур стены кажется вычерченным детской рукой.

За стеной турецкие казармы, на том месте, где стоял дом Пилата. Жена Пилата, напуганная сновидением, послала отсюда сказать своему мужу, восседавшему в претории, на судейском месте: «ничто же Тебе и праведнику тому: много бо пострадала днесь во сне Его ради».

Слева, точно громадные пауки, распутив колючие лапы, темнеют кактусы; чернеют деревья; тёмными пятнами рисуются стены монастыря францисканцев.

Тучи совсем раздались, открывая бледно-зелёное, как будто засеянное золотистой пылью небо; алмазное созвездие Ориона искрится над правым склоном Елеонской горы, над Гефсиманским садом. Я люблю это созвездие, а здесь оно как-то особенно кстати, и в его узоре таится кабалистический символ древности, который безбольно ранит сердце своим мистическим намёком.

Высокие стены загромаждают вдали Гефсиманский сад. О, конечно, этот сад не был ограждён тогда неприступными преградами. Это просто была рощица маслин, куда Христос беспрепятственно вошёл со своими учениками.

Но как ни высоки стены, — вершины чёрных кипарисов возносятся над ними; они кажутся чёрными стражами, стерегущими в мрачном безмолвии окрестность. За ними ещё стены, какие-то здания, по счастью их немного, всего два-три, а дальше — тёмные купы маслин, но уже растущих на свободе.

Я, глядя на них, как лунатик, подвигаюсь вперёд, спускаюсь ниже. Стены вырастают всё неприятнее и выше, загрождая даль и деревья. Эти стены гнетут скудостью человеческих забот, тупостью и страхом рабской мысли.

Я твержу себе с внутренней настойчивостью: — Ведь это Гефсиманский сад! Гефсиманский сад!

В то же время с горечью и острой тоской чувствую, что из этих двух слов как будто улетела душа; они звучат пусто и глухо, оторвались от моего сердца и увядают на губах.

Неужели всё погибло?

Я стою почти в отчаянии. Я готов резко повернуть назад и, не оборачиваясь более, со стеснённым сердцем, с поникшей головой вернуться по мрачным, грязным закоулкам.

Луна опять закрылась тучами, исчезли свет и тени. Деревья, камни и здания: всё сразу слилось, и на меня дохнуло откуда-то снизу холодом, сыростью и печалью древних мест.

Тьма дала мне время одуматься, и, когда луна снова осветила землю, стены эти мне показались настолько ничтожными делами рук человеческих, что я не думал больше о них, и мысль моя почти безотчётно тянулась к тому, что перестало быть предметами и существует, как символ.

Дорога уходит вниз, в нескольких шагах передо мною мостик и под ним тёмные кусты, дикие травы, запах которых так сильно чувствуется во влажном сумраке.

Что со мною? Где я?

Русло Кедронского потока; над ним редкие деревья, поникшие, точно притаившиеся от страха. А камни этого мостика, ведь это остатки тех камней, по которым Христос проезжал в Иерусалим накануне Пасхи. Здесь же, в страстной четверг, около полуночи вели Его связанным из Гефсиманского сада, били и оскорбляли по дороге.

И вдруг томительный холод проходит по всему моему телу и невыразимый трепет охватывает всего меня с ног до головы. Я машинально снимаю шляпу и тревожное дуновение проходит по моим волосам. Конечно, это не более, как ветер, он здесь внизу дует особенно сильно и порывисто; он напитался сыростью земли, скрытой от солнца под тенью ку-

старников и теперь влажно касается моих щёк, моей шеи, проникает всё моё тело.

Глубокая тишина наполняет склоны и дно этого русла. Тишина как бы течёт подо мною вместе с мраком, который здесь ещё гуще и оттого почти осязаем.

Умер Кедронский поток, но призрак его оживает ночью и струится, безмолвный и холодный, рассекая землю, отделяя гору от долины мёртвых, от долины плача, Иосафатовой долины.

Кедронский поток, верно, сам понял, что непристойны шум и движение жизни в этом мрачном месте, близ этого необъятного кладбища, засеянного, точно опавшими лепестками гигантских цветов, белыми камнями, под которыми тлеют неисчислимые кости.

Опять вынырнула луна; у неё такая древняя, такая страшная связь с этими местами. И опять всё засветилось, ожило и задрожало, только ещё яснее открылась мёртвая скорбь Иосафатовой долины в этих однообразных, смертью посеянных камнях. Их здесь так много, что они не дают расти траве; они душат её своим мёртвым гнётом, не пропускают к ней ни солнца, ни влаги.

Здесь, по пророчеству Иоиля, будет страшный суд; сюда соберутся все народы. Загремит труба Архангела, и тогда задрожат камни, и мертвецы поднимутся из могил в безмолвии, которое будет ещё страшнее, чем сейчас.

Но уже и теперь эти древние камни обладают свойством углублять тишину до таких пределов, которые неведомы даже пустыне.

Здесь, в полном и настоящем смысле слова, царство тишины, и все звуки, не только окрест, но и на этой земле, остаются как-то вне тишины. Кроме того, они лишены здесь всякого смысла; они как бы опустошены и ещё более подчёркивают единосущное безмолвие Иосафатовой долины.

Вот и сейчас я слышу такие звуки, более похожие на тени звуков. Я вижу, как по дороге, освещённой лунным светом, который также проникся её великим безмолвием, идёт запоздалый караван. Громадные верблюды со своими тенями кажутся ещё больше, чем в действительности; они, покачива-

ясь, медленно движутся к Дамасским воротам, вдоль древней Иерусалимской стены, над которой, сказочной короной, темнеет купол прекраснейшего из земных зданий, синей мечети Омара.

В лунном сумраке, среди света и тени, перезванивают тонкие бубенцы, напоминая своими полыми звуками стоны воды, поглощающей тихо падающие в неё камешки. Плом... плом, плом... плом... Кажется, что и эти перезвоны происходят от падения звуков в тишину; падают звуки и погружаются на самое дно тишины.

Караван идёт мимо трёх могил. Первая могила — первосвященника Захарии, убитого иудеями между жертвенником и алтарём; здесь гробница Иосафата, иудейского царя. Дальше могила Иакова, и третья могила Авессалома, печальнейший из земных памятников, воздвигнутый при жизни самим этим мрачным сыном Давида, поднявшим на отца руку.

«Авессалом же еще жив сый, взя и постави себе столп в юдоли царстей, рече бо, яко несть ми сына на память имени моего: и нарече его: рука Авессаломля даже до днешняго дня» (Книга 2 Царств, 18:18).

Вместо вздохов скорби, могила Авессалома вызывает у евреев только озлобление: проходя мимо неё, евреи бросают в её древние стены камни вместе с укором нечестивому сыну, оскорбившему своим непокорством отца.

Караван продолжает подвигаться, то выступая на лунном свете, то сливаясь с тенями от стен и камней, так что его явление кажется призрачным.

Я долго стою, не решаясь перейти мостик Кедронского потока, боясь, может быть, больше всего разочарования, которое за несколько минут перед тем подступило ко мне с таким холодом и пустотой.

Слева предо мной храм Успения Богоматери. Он под землёю, в пещере. Там же гробница Иосифа, обручника Девы Марии. Но дверь в пещеру сейчас закрыта, и ночь приложила к её железным затворам печать своего молчания. Места скорби обладают великой властью над человеческой дугой, и я, растроганный, стою перед этой пещерой, камни которой впитывали слёзы Богоматери.

По смерти своего Распятого Сына, Мать Его каждый день приходила с Сиона в эту пещеру оплакивать Своё неутолимое горе. Это было, конечно, вечером, после трудового дня. А трудиться Ей приходилось много: Она сама должна была управляться со всем домашним хозяйством, Сама спускаться на источник Смоковничий за водой и подниматься вверх на Сион с тяжёлым кувшином на плече. Верно Христос любил это место, если Мать Его завещала Себя похоронить там.

Здесь две Их тени ближе одна к другой, чем где бы то ни было в Палестине. Здесь древние маслины Гефсиманского сада видели Мать и Сына в слезах на молитве, а светлая Елеонская гора возвышалась над Ними.

Миновав пещеру храма, куда я должен был пойти на другой день, я поднялся по скату дороги мимо высокой стены, ограждающей Гефсиманский сад. Поднявшись несколько шагов вверх, мы свернули направо и пошли между двух одинаково высоких каменных стен, по гладкой песчаной дороге, погружённой в тень, ко входу в Гефсиманский сад.

Судя по стенам, сад очень маленький. Конечно, только место ограждено, где, утомлённые ожиданием, дремали ученики Христа и где Иуда предал Его на крестное страдание.

Мой кавас застучал в железную дверь справа, в надежде, что сторож-араб ещё её ушёл отсюда и, услышав, отопрёт нам.

Этот гулкий стук как-то враждебно и грубо вторгся в тишину.

Никто не отвечал.

Кавас вторично поднял было руку, но я его остановил:

— Не надо.

— Зачем не надо, брато?

— Так, я не хочу.

То был инстинктивный протест с моей стороны. Но когда я на другой день попал в это святилище, я не пожалел о том, что почти добровольно отказался накануне ночью от посещения его.

Хотелось поскорее уйти от этих стен. Одна из них, верхняя, кончалась в нескольких шагах отсюда; за нею шла

дорога из камней вдоль стены с большими проломами; через них нетрудно было подняться на пустырь, где также росли древние маслины, и если не сами они, то корни их, несомненно, были те же, что и во время Христа.

Наконец мне прямо-таки представлялось, что Христос должен быть ближе к этим вот, сиротливо стоящим, деревцам, около которых растёт дикая трава и, посеянные ветром, бедные полевые цветочки, нежели там, где всё так выхолено, возделано и разукрашено, мелочно-заботливыми и расчётливыми человеческими руками.

Подлинность местонахождения Гефсимансакого сада несомненна, но кто может убедить меня, что Христос молился и был предан не здесь, куда я поднялся, а там, где стоят часовенки и стены и где находится пещера, в которой будто бы спала Его ученики.

Увы, и тут моё благоговейное настроение едва не разбилось самым неожиданным образом: не успел я подняться наверх, оставив моего каваса внизу, под стеною, как увидел притаившуюся около маслины фигуру.

Стало несколько досадно, что не удастся побыть одному, если это такой же поклонник, как и я. Но можно отойти подальше, в сторону.

III

Я сделал несколько шагов и в ту же минуту услышал лёгкий свист.

Другая фигура, низко наклонясь, как крыса, юркнула в сторону, и я видель — поползла за кустом, как бы для того, чтобы обойти меня с другой стороны, но в ту же минуту Савва показался среди камней у стены, с револьвером в руках.

Я не ожидал от старика подобной прыти: подняться так скоро снизу сюда было не так легко. При появлении его, тень опять шмыгнула назад.

— Брато, — зашептал кавас, — это злые люди. Зачем здесь прятаться добрым: дорога в стороне. Ох, тут такой народ, не дай Боже,

Обе фигуры сошлись, постояли и двинулись к нам, но шагах в пяти остановились. Их тени, сливаясь в одну, упали на нас, но, вероятно, они рассмотрели медный значок каваса или блеснувшее дуло его револьвера, в нерешительности постояли, пошептались, однако всё же пробормотали обычное — салем — и двинулись в сторону к дороге.

Савва сделал несколько неодобрительных замечаний им во след, присел на камень около ближайшего дерева, свернул папиросу и закурил.

Было за десять ночи. Верно, старик устал, потому что через минуту красная точка его папиросы погасла и голова опустилась на грудь. Я был доволен, что он задремал, отошёл подальше, где стояла старая престарая маслина, с толстым стволом, потрескавшимся и насквозь проеденным временем, и прислонился к ней.

Густая листва её висела надо мною, как мохнатый балдахин, с большими кистями; она пахла нежно и тонко, и, когда ветер колыхал её молодые листочки, это тонкое благоухание становилось сильнее, и я чувствовал его на своих губах и ресницах.

Несколько минут я просидел, ещё не вполне освободившись от впечатления неожиданной встречи и предшествующих ей мелочных чувств, близ закрытых дверей Гефсиманского сада, между высоких, каменных стен.

Луна поднялась выше, продолжая свою фантастическую игру с тучами, которые меняли каждый миг свои очертания и мрачным полчищем надвигались на Иерусалим.

Когда луна освобождалась от туч, всё вокруг наполнялось её лихорадочным светом; от него оживали все предметы, кроме белых камней, рассеянных по долине Иосафатовой, а тёмный полукруглый купол мечети Омара ещё более походил на корону гиганта, и казалось — вот-вот, из-за древней стены Иерусалима поднимется сам гигант и вновь прострёт грозную десницу над Иерусалимом со скалы Мория, на гумне Орны Иевусеянина, до сих пор уцелевшей в мечети Омара и свято чтимой всеми религиями со времён царя Давида.

Иерусалим, над которым теперь низко нависли тучи, сам кажется сейчас тёмной, свалившейся тучей; сквозь неё едва пробиваются, как звёзды, редкие ночные огни.

Только теперь я слышу доносящийся оттуда лай собак; собаки подают свои голоса в разных концах города, как бы не вынося этой тишины и мрака, порождающего смутные предчувствия и страхи. Изредка, ещё более заражая беспокойством ночь, доносится издали жалобно всхлипывающий голос ослика.

Помимо этих диких звуков, ничего не свидетельствует о том, что жизнь не умерла в большом, скученном городе, таком шумном и подвижном днём.

Звон колокола, неожиданно всколыхнувшего эту тишину, также скорее похож на жалобу какого-то одинокого, бессловесного существа, чем на призыв к молитве. Ветер схватывает колокольные звоны, качает и растворяет их в воздухе, не касаясь земли.

Я с удивлением вслушиваюсь в эти ноющие звуки и почти доволен, когда они замолкают.

Тишина и мрак обступают меня со всех сторон, и я угадываю за ними бесконечно печальное выражение ночи, которая с закрытыми глазами и с помертвевшим от скорби лицом вспоминает то, что никогда не умрёт не только здесь, но и во всей вселенной.

И мне также хочется закрыть глаза и ощутить ясно, как я ощущаю холодок этой ночи, прикосновение к душе моей этих воспоминаний, всё отчётливее возникающих с каждым мгновением.

Здесь... Боже мой, неужели здесь... в такую ночь!..

Время теряет свою власть надо мною. Эти века не более, как мост, пройденный мною полчаса тому назад, мост через высокий поток Кедронский, от которого осталось только одно русло.

Нынче, после заката солнца, после Тайной Вечери, сойдёт Он с Сиона, из дома Иоанна Богослова, который посетил я утром, — сойдёт сюда, в Гефсиманский сад.

Он знает, что в эту ночь Его продаст тот, который, вместе с другими учениками, наклонился к нему и, не глядя в его глаза, в свою очередь спросил:

— Не я ли?

Ответил ли ему Христос чуть слышно: «Ты», — как свидетельствует один из евангелистов? Наверное, нет, иначе зачем было Иоанну, наиболее молодому и потому, конечно, любопытному, добиваться, кто предатель.

Иуда вышел.

Это не обратило особого внимания учеников: у Иуды всегда были дела и хлопоты. Иуда не любил даром тратить времени.

Вскоре и Христос поднялся, а с Ним и ученики Его. Крутой каменистой дорожкой они пошли с Сиона по направлению к Гефсиманскому саду, мимо того места, где теперь село Скудельное, земля, купленная первосвященниками за тридцать сребреников у горшечника, за тридцать сребреников, оставшихся после Иуды.

То же небо было над ними; те же светили звёзды, и луна была та же.

Так же неслись тучи по небу и срывался холодный ветер, который развеивал бедные одежды их и трепал домотканый цельный хитон Иисуса Христа, который воины пожалели разрывать и метали о нём жребий, в то время, как кровь из ран Иисуса текла по кресту и падала на землю.

Во время пути он продолжал беседовать с учениками, намекая на ожидающую Его судьбу, но ученики не понимали Его речей.

Христос не замечал холода, от которого вздрагивали и ёжились Его ученики, он шёл, подавленный ожидающим Его ужасом и продолжал кротко поучать их. Его только что омытые ноги машинально ступали по хорошо знакомой дороге, по привычке обходя камни, валявшиеся на пути. Пыль pokrыла их, и Он иногда останавливался, чтобы вынуть камешек, попадавший в сандалии и беспокоивший натруженные постоянным странствованием стопы.

Тени придорожных деревьев, колеблемых ветром, ложились Ему поперёк дороги и металась по ней тревожно

угрожающе, как будто хотели заставить Его вернуться назад, скрыться от преследователей другой дорогой.

Но он знал, что это неизбежно.

Может быть, Он даже видел одну-две тени шпионов, которые уже следили за Ним, ни на одно мгновение не выпуская его из глаз. Но ни единым словом Он не выдал этого своим ученикам, чтобы не тревожить их понапрасну. Он знал, что они люди, — о, слишком люди! — и несмотря на всю их любовь и преданность Ему, в минуту опасности — в страхе разбегутся.

Так шли они вдоль восточной иерусалимской стены и повернули мимо ворот северной, мимо белых камней Иосафатовой долины, разбросанных, подобно листкам великой книги, имя которой — Смерть.

Они прошли мимо ворот, в которые всего четыре дня тому назад, Христос въехал на молодом осле, и, перейдя мост через Кедронский поток, Христос и ученики Его поднялись сюда.

Это было приблизительно в такой же час.

Я совершенно ясно ощутил, как захолонуло моё сердце.

Вот тут, среди деревьев, сквозь которые луна, как нынче, бросала на траву шевелившиеся от ветра пятна света, прошёл Он своей лёгкой походкой, опустив голову и машинально поддерживая рукой свой светлый развевавшийся хитон.

Отсюда, взглянув на Иерусалим, как и сейчас, замкнувшийся в тишине и сумраке ночи, Христос преисполнился великой скорби, но, чтобы не выдать эту скорбь перед своими учениками, повелел им остаться в стороне, а сам пошёл от них, допустив сопровождать Себя только трёх учеников: Петра, Иакова и Иоанна.

Перед ними Он не мог более скрываться и сказал:

— Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со Мной.

Но и от них отошёл Он на расстояние камня, брошенного рукою, и стал молиться.

Они не могли в темноте видеть лица Его, но шёпот молитвы, доносимый ветром, подобный мучительному стону,

свидетельствовал, что бесконечно скорбь, мрачными тенями покрывавшая лицо Его, с которого холодный пот капал, подобно каплям крови.

Он видели Его воздетые к небу руки и ужасались за Него. Но человеческая слабость побеждала, и трижды Он находил их задремавшими.

И в последний раз Христос с упрёком сказал им:

— Вы опять уснули. Вот приблизился час, и Сын Человеческий предаётся в руки грешников. Встаньте, пойдём: приближается предающий Меня.

О, я представляю при этом ужас учеников! Окаменелые, они остановились перед Христом, не зная, что им делать.

У ночи захватило дыхание до того, что вся земля, кроме этого клочка, на котором они стояли, как бы провалилась в бездну пустоты.

И вдруг весь сад наполнился подозрительным шумом, шорохом и шёпотом; задрожали листья маслин, и ветер заметался, как птица, внезапно ослеплённая во время сна. Десятки красных огней, раздуваемых ветром, вспыхнули здесь и там во мраке среди ветвей, заражая воздух смолистым чадом; блеснули на огне медные доспехи воинов, побагровел воздух. И, предводительствуемые Иудой, они направились к Христу, готовые преследовать Его, как зверя, в случае, если он попытается бежать.

Но Христос стоял, молча глядя на Иуду: тот шёл к Нему поспешно, трусливо и, вытянув шею, поцеловал Его скользким, ядовитым поцелуем.

О, конечно, это было последнее и самое страшное усилие предательской воли. Кто знает, может быть, он тотчас же упал недалеко от этого места и потом бежал, преследуемый мстительными духами этой ночи, или полз, как гад, чтобы бросить обратно свои серебряники, а затем удавиться в невыразимых мучениях совести.

От огней факелов трещат, коробятся и падают на землю прахом сожжённые листки маслин. Перепуганные ученики, пригибаясь, быть может, припадая от страха к земле, бегут, скрываются между деревьями.

Один Пётр, встревоженный на Сионе загадочными речами Учителя, пришёл с мечом, который он хранил под одеждой. Растерянно выхватывает меч, наудачу взмахивает им и отсекает воину ухо.

Но едва Христос, понимающий всю бесплодность такой защиты, останавливает Его кроткими словами: «Взявший меч, от меча и погибнет», как Пётр также скрывается в темноте, и оставляет Христа одного, окружённого врагами.

Здесь высшая трагедия божественного духа Христа. После этого он уже не молится о том, чтобы миновала Его чаша сия. Он покорно даёт связать себя, и только во взгляде Его, напрасно ищущем вблизи учеников, тлеет, может быть, последняя горечь жизни. Но дальше это не может поколебать величия и ясности духа Его.

Он ничего не отвечает на издевательства и обиды; стража грубо и презрительно мстит Ему за беспокойство, которое из-за него должны испытывать она, вместо того, чтобы спать дома в этот поздний ночной час, или пить вино и играть в кости с приятелями.

Его ведут, и луна из-за туч провожает это шествие побледневшим светом; ведут вниз, вот по этому самому мостику, и Он, может быть, задевает Своим плечом за камень, уцелевший до сих пор и как будто имеющий своё особенное выражение, как всякий предмет, на котором лежит печать великой древности.

Багровое пламя смоляных факелов, как пьяное, играет с мрачными, ночными тенями. Дым попадает в глаза Христу. Он отворачивается, видя Гефсиманский сад и Елеонскую гору, мысленно прощается с этими любимыми местами, где Ему знакомо каждое деревцо, каждый камешек.

Он не увидит их более.

По преданию, один из воинов так сильно толкнул на мостике Христа, что он упал в Кедронский поток. С грубыми издевательствами Его вытащили оттуда и продолжали путь.

Не доходя Дамасских ворот, стража сворачивает налево и мимо могилы Авессалом, Иакова и Захарии, ведут Христа к западным воротам города.

Караван верблюдов запоздалых в пути, позванивая бубенцами, пересекает их дорогу около этих ворот.

Громадные животные, нагруженные товарами, испуганно фыркают, шарахаются в сторону от пылающих на ветру огней, а удивлённые погонщики спрашивают стражу: в чём дело?

Но стража и сама хорошенько не знает:

— Так, какой-то бунтовщик, не хочет признавать царя.

— Что там, он сам Себя называет царём.

— Ха, ха, ха, хорош царь!

Глядя на Его мокрую одежду, они покатываются от смеха, держась за бока.

— Да этого мало, он называет ещё Себя Сыном Божиим.

Смех обрывается, и лица погонщиков становятся строгими: они люди простые, но благочестивые, и такое богохульство их оскорбляет.

— Да Он просто безумный.

Они укоризненно покачивают головами, но, распрощавшись со стражей, скоро забывают об этой встрече и идут, тихо напевая старые песни про своих героев под звон всё тех же бубенчиков.

Мне кажется, что я сейчас вижу всё это отсюда с поразительной ясностью. И сердце моё столько же за это далёкое, далёкое прошлое, сколько и за наше время. Всё так мало изменилось с тех пор, всё, начиная с природы и кончая людьми.

В продолжение двух тысячелетий на землю эту упали ливни крови: кости сваливались, как хворост, и дикие бури-войны бушевали во имя Христа. Иерусалим разрушался и возникал много раз, но в Гефсиманском саду растут те же сизые маслины, те же красные цикламены качаются среди камней, как огненные бабочки. И люди остались те же.

А этот караван верблюдов... Разве он не остался таким же, как и при Христе, вместе со своими товарами, проводниками и их одеждами!

То же самое... То же самое.

Христа как будто сейчас только увели отсюда. Исчезли факелы, закрылись городские ворота, и всё осталось, как тогда. Иерусалим спит, укутанный мраком, под небом, закры-

тым тучами, и от белых камней Иосафатовой долины идёт к нему безмолвие смерти, которое гасит все звуки, вой бродячих собак и крик голодного осла, забытого пьяным хозяином.

IV

Несколько крупных капель дождя падают на меня. Может быть, это ночная роса с маслин, закачавшихся от сильного порыва ветра, — холодный пот ужаса, охватившего их от воспоминаний о той великой, скорбной ночи.

Я поднимаю голову и гляжу на небо.

Тучи низко несутся на восток в ужасном смятении, и это они роняют холодные капли пота. Я слышу печальное шуршание капель по листьям, сливающееся с ропотом и вздохами деревьев, уныло качающихся по ветру.

Встревоженный голос Саввы окликает меня. Я поднимаюсь и иду к нему.

Его оклик разбудил собаку в ближайшем дворе.

Слышно, как хлопает окно наверху, и гортанный испуганный голос араба кричит что-то в темноту, поминая имя Аллаха.

Собака ещё пуще лает; тогда в двери, выходящей на балкон каменного домика, вероятно, сторожки, появляется фигура другого человека. Два голоса их беспокойно переговариваются между собою и натравляют на нас собаку, перескочившую через пролом в заборе.

Тогда Савва успокоительно откликается им: кличется обратно собака и всё смолкает.

И капли дождя уже не падают больше. Только ветер тянет настойчиво и сильно и гонит тучи на восток.

— Холодно, — говорит Савва.

— Да, холодно; холодно, как и в ту же ночь, когда Пётр подошёл к костру погреться во дворе Каиафы. Всё, как тогда.

Хочется закрыть лицо руками от этой трагической близости к прошлому. Но сердце не закроешь, и, полное почти безнадежной скорби и жуткости, оно обливается кровью уже не только за настоящее, но и за будущее.

Нельзя измерить величие божественной жертвы, но мучительная дрожь охватывает при мысли о том, что за ней и перед ней — предательство. Оно издевается над её бесплодностью, звоном сребреников оно отвечает на молитву, чётками которой служат кровавые капли пота. Оно сторожит на каждом шагу подвиг и предательскими ударами ножа подсекает его корни.

Удавился Иуда, но за ним стояли первосвященники. Сила предательства в них. И на смену одного сломавшегося клинка, всегда явится другой, чтобы поразить из темноты героя.

Я бросаю последний взгляд на маслины и камни Гефсиманского сада и выхожу на дорогу к вершине Елеонской горы, к храму Вознесения.

Несмотря на сумрак ночи, как бы потерявшей луну, дорога среди тёмных камней и деревьев восходит белёсой полосой, и мы идём вверх, среди глухого безлюдья, выше и выше, и по мере этого восхождения, как будто не удаляемся от Иерусалима, а приближаемся к нему.

Так, оглядываясь назад, я яснее вижу в темноте древнюю стену и купол мечети Омара и самый Иерусалим, который теперь отделяется от туч длинной светящейся полосой неба, и на серебристо-голубом чётко рисуются тёмными изломами стены, башни, крыши, купола...

Савва что-то лепечет возле меня своим смешным, путанным языком. Он проспал по крайней мере час, в который я так безотчётно перешёл за грань двух тысячелетий. Он всё продолжает говорить о тех двух арабах, которые с недоброй целью поджидали нас. Скоро среди его лепета я различаю слова: зарезали... иеромонах... настоятель... отец Парфений...

Я вслушиваюсь внимательнее и наконец понимаю: всего четыре месяца тому назад, на Елеонской горе, зарезали настоятеля монастыря отца Парфения, шестидесятилетнего старца. Убийц до сих пор так и не нашли. Арестовали араб-привратника, который, по-видимому, участвовал в убийстве, хотя и отпирается.

Савва таинственно наклоняется ко мне и шепчет, как будто кто-нибудь может подслушать нас здесь, кроме громадных кактусов.

— А я скажу, брат, это греки. Зло всё от них.

Он всей душой ненавидит греков и с наивным негодованием рассказывает мне о них разные возмутительные вещи. По его словам, греческие монахи, и вообще духовенство — очень плохие христиане, а люди — ещё хуже.

Но я уже не слушаю его. Какое мне дело до козней и нечестия греческого духовенства. Перед глазами моими возникают тёмные, высокие стены, куполообразные башни: это турецкая казарма.

На углу её громадный камень, сидя на котором, Христос по преданию беседовал с апостолами Петром, Иаковом, Иоанном и Андреем о кончине мире и о втором пришествии своём.

— Бдите убо не весте бо, когда Господь дому придет, вечер или полунощи, или в петлоглашение, или утро, да не пришед внезапно, обрящет вы спяща.

Колокольня, более чем в двадцать сажен вышины, поднимается на самой вершине Елеона, на том месте, с которым связано так много чудесных сказаний.

Мы стучим в железную калитку; испуганное спросонья чёрное лицо африканского араба появляется перед нами за решёткой, но, несмотря на значок Саввы, он долго не решается отворить нам.

Во дворе монастыря начинается настоящее смятение; слышатся и странные голоса, темнеют в отдалении чёрными пятнами монахини.

Вслед за тем появляются ещё две фигуры: русский крестьянин-сторож в полушубке, и другой сторож — араб, живописно задрапированный в бурнус, с винтовкой за плечами.

Начинаются переговоры между ними и Саввой.

Я уже хочу уйти и отсюда, но нас впускают.

Две чёрные женщины, в монашеских одеждах, всё ещё не решаясь приблизиться к нам, издали начинают свои опросы.

Говорит, собственно, одна; другая только вздыхает и шепчет с дрожью в голосе:

— Ой, Господи помилуй! Господи помилуй!

Мы стараемся оправдать своё позднее посещение, и они, наконец, успокаиваются и в свою очередь оправдываются перед нами в своём испуге.

Они не могут забыть этого кровавого ужаса, омрачившего их мирную жизнь в монастыре; они плачут, рассказывая мне о зверском убийстве старца, которого все так любили и чтили за его доброту и отзывчивость.

Указывают у церковной стены его могилу, над которой горит красноватым огоньком неугасимая лампада; затем ведут они меня к домику, где убили его ночью, и откуда убийцы прошли по направлению к сторожке, оставляя на жёлтом песке следы ног, выкупавшихся в старческой крови.

Монахиня вспоминают его добрые дела и трудолюбие, а сторож-крестьянин рассказывает с трогательными подробностями, как накануне, с зари до зари, работал он вместе со стариком, копая землю, которую покойный так любил.

— Много работал отец Парфений, устал и говорит мне: «Ну, благослови тебя Господь, иди». И сам вошёл в незакрытую дверь.

— Больше его мы живым уж и не видели.

Женщины опять вздыхают и плачут, глядя на печальный, опустелый дом, окна которого глядят, как слепые глаза. Очевидно, им самим жутко глядеть на этот дом и они ведут нас к садовой ограде, где темнеют масличные деревья и кипарисы, чёрные и тяжёлые, как чугун, мрачно напоминающие о смерти.

Монахини сожалеют, что не могут в столь поздний час оказать нам должное гостеприимство, показать церковь и древнюю мозаику, весьма замечательную, которую относят к V веку.

— А пещеру преподобной Пелагеи вы не видели?

— Нет.

— Как же. Вон она там, близко. Преподобная, под видом евнуха, проводила в этой пещере строгую, затворническую жизнь и тем всё своё порочное поведение искупила. Тут она скончалась и погребена. Весьма примечательное место, — доканчивает она со вздохом.

Другая славным симпатичным голосом вступает:

— Здесь чудные места. Тут в скале след левой стопы своей оставил Христос, как бы в уверение своей всегдашней присутности. И мать Божия после Вознесения Христова любила приходить сюда. Прекраснейший Елеон наш и честнейший, не то, что южная вершина: там Соломон, впавший в искушение, воздвиг капище нечестивое, срамное для язычниц-жён своих.

Я не вижу лица монахини; оно зареяно мраком, но голос её звучит нежно и молодо, проникнутый трогательной любовью к этому, действительно прекрасному месту.

Однако, несмотря на всё их внимание, я предпочёл бы хоть на несколько минут остаться на этом месте, излюбленном Христом.

Оставить их. Но это удивило и обидело бы простосердечных монахинь. По счастью, они сами несколько отстали от меня, вероятно, чтобы расспросить моего проводника, что я за человек.

Я остаюсь в стороне один и, взглянув с горы вниз, мгновенно забываю и о них, и обо всём на свете.

Как глубоко понятно становится мне дивное сказание о Вознесении Христовом именно с этой горы. Несмотря на внешнюю близость, поразительно далека она от Иерусалима, от всей суеты жизни и, вместе с тем, какая родная всему великому и святому, что есть на этой земле вокруг неё.

Окна Иерусалима кажутся отсюда лампадами, зажжёнными в необъятном храме, алтарём которого служит Елеонская гора.

Монахини напрасно сожалели, что я не при дневном свете вижу всё это. Сейчас, ночью, душа моя настроена так необычно, доверчивей, может быть, суеверней, и оттого ближе к той красоте, которую мало видеть одними глазами.

Туча и луна придают ещё более очарования тому, что я вижу, угадываю, почти постигаю.

Шире раздалось серебристо-голубое пространство между землёю и тучами; бесконечно длинной полосой, изломанной со стороны неба и земли, сияет оно и как бы течёт, как светлая река. Слева, под этой рекой света, ещё более яркое

пространство, которое всё фосфорится и блещет, точно зеркало луны, где она отражается из-за туч.

Мёртвое море.

Я долго не могу оторвать от него глаз. Мёртвое море. Воображение напрасно силится представить себе на его берегах нечестивые города, Содом и Гоморру, полные ослепительного порока. Безжизненной холодностью льда блестит Мёртвое море, точно громадный остекленевший зрачок земли.

Судьба Навуходносора и подобных ему властителей, судьба царств и народов, украшавших и оживлявших эти берега, покрыта забвением, как могильное дно — мёртвыми водами этого мрачного моря.

За ним, как тучи, чернеют горы Моава по другую сторону Мёртвого моря. Иудейская пустыня. Долина Иордана. Туда идёт, слабо проступая во мраке, извивающаяся, теряющаяся и вновь возникающая дорога, по которой вблизи движется что-то чёрное, живое... Верно, караван; на этот раз из Иерусалима.

Я слежу за ним, пока он не сливается с мраком, и опять взгляд мой, сам собой, обращается к Иосафатовой долине, как будто в ней таится душа этих невыразимо трогательных мест.

Нет, это было бы слишком печально. Безмолвие смерти, даже ожидающей трубы архангела Гавриила, слишком мрачное истолкование всего, что произошло тут, — хотя бы в Гефсиманском саду, или там, где сейчас вспыхнул огненный крест над Голгофой.

V

Около полуночи я простился с Елеонской горой и пошёл домой опять той же дорогой, мимо масляной Гефсиманской рощи.

В узких проходах, между каменных стен, ветер, ещё более усилившийся, дул порою особенно остро и враждебно. Серебристо-голубая полоса за Мёртвым морем закрылась тучами. Луна окончательно исчезла, и всё потерялось во мраке и тишине, смущаемой только резкими налётами ветра, глу-

хим шумом его в ветвях и сухими томительными вздохами в извилистых переходах по спуску с Елеонской горы.

Изредка ещё крик ночной птицы жалобно и пронзительно падал в темноту и как будто повисал в ней.

Несколько раз принимался идти дождичек. Молодой весенний дождичек, нерешительный и задумчивый, при котором ветер не смел метаться с таким испугом и шумом. Но дождичек брызгал несколькими каплями и замирал.

Я просил моего спутника проводить меня другой дорогой.

То ли он устал и полудремал на ходу, то ли он плохо знал Иерусалим, так как поселился здесь недавно, — только мы запуталась и, в конце концов, очутились совсем в другом конце города, на окраине его, около какой-то мельницы, которая стояла с растопыренными крыльями на холме, как будто также запуталась в темноте, и не знала, куда ей идти.

Это странствование, столь необычное с самого начала, очевидно, должно было и кончиться необычно. Я бы, пожалуй, ничего не имел против того, если бы не был так утомлён. Ноги не шли и тяжелели веки, и по временам всё пережитое и виденное представлялось видениями далёких дней, детских дней.

Гефсиманский сад... Елеонская гора...

Детские представления слабо сливаются с действительностью. Тайна предвидения, доступная только на заре пробуждения, как будто находит здесь своё подтверждение. Да иначе и не могло быть. Всё так.

Но отчего тогда в детстве всё это представлялось в таком божественном свете, в мерцании невыразимых надежд и отрад, полное благословляющей силы и красоты, а сейчас мне страшно углубляться в роковое значение этих мест.

Всё продуманное раньше колеблется, но опыт жизни и истории со всех сторон поддерживает его своими остриями.

Не вернуть мистической веры детских лет и в этом вся тайна падения религии и христианства.

— Мы заплутались, — говорю я Савве.

— Заплутались, брато, — отвечает он. — Я сейчас.

И Савва торопливо уходит куда-то, оставив меня одного.

Всё глухо кругом. Я опираюсь о каменный забор и почти дремлю.

Мельница стоит, подняв руки, тёмная, большая. Она уже не кажется теперь заплутавшейся, она как будто молится, подняв к небу руки в широких, чёрных рукавах.

Обрывки детских воспоминаний сами собой встают в памяти; они как будто зовут к примирению, но достаточно одного движения моего, как мысль отрезвляется и уже не верить в воскресение.

Стало совсем холодно, пошёл дождь, который ветер бросает прямо в лицо. Холодный и совсем уже не весенний дождь. Хочется скрыться от него, куда ни попало.

Но вблизи нет никакой надежды найти гостиницу. Всё пусто и глухо, даже собаки попрятались от дождя.

Тогда, совсем уже не рассчитывая на моего замешкавшегося каваса, я сам поднялся на какой-то холм и, к своему счастью, увидел высоко в темноте два круглых огня. Я узнал их. Накануне я видел их с Сионской горы: это огни на Яфских воротах.

Я окликнул Савву. Он отозвался сквозь шум дождя и скоро очутился около меня.

Мы пошли по узкой улице, сплошь заваленной острыми камешками.

Савва что-то лепетал в своё оправдание. Под дождём его фигура казалась детски беспомощной и жалкой. Он с твёрдым убеждением закончил свой лепет.

— Это не иначе, брато, как злой дух запутал меня. Ему не нравится, что мы до Христа пошли.

Я взглянул на Савву, и он уже не представлялся мне жалким. Он казался ребёнком, которому я, во всём искусившийся и сомневающийся человек, готов был завидовать даже в эту минуту.

1911

ПЬЕР-МАК ОРЛАН

НОЧНАЯ МАРГАРИТА

Ночная Маргарита

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Старик Фауст с суровым видом посмотрел на своё «механическое перо». Затем он написал: «Абсолютное, обоснованное, упроченное и упорное презрение к человеческому роду придаёт тому, кто им обладает, естественную, приятную учтивость. Великие человеконенавистники, обычно, очень приятны в обхождении. В этом отношении они похожи на людей, изображающих презрение к детям ради литературной позы. Дети избирают их преимущественно перед другими мишенью для всяческих оскорблений. Ибо эти простодушные младенцы отлично знают, что пощёчины даются лишь любящей рукой».

Быстро написав эти несколько строк, старик положил стило и посмотрел на свою кошку, Мурку, игравшую с черепахой, проявлявшей неиссякаемое терпение. Старый Фауст вздохнул и пересчитал белые листы, которые он должен был заполнить своим быстрым, сжатым почерком. Он встал и направился к закрытому окну, преграждавшему всякое вторжение в эту комнату каких бы то ни было провокаций со стороны внешних предметов.

Стоя во весь рост и семена ногами, старик не отличался слишком импозантным видом. На его сморщившемся теле был бесформенный сюртук, нарочитая «живописность» которого была слишком очевидна. Его лицо походило на маленький, серый резиновый мяч, нижнюю часть которого украшало несколько щетинистых, как у белого слона, волос. Огромные очки в роговой оправе сидели верхом на маленьком нежном дедовском носу, вылепленном из вещества, подобного розоватым лепесткам мака, преждевременно вышедшего из своих зелёных ножен. Нежность этого органа составляла единственную оригинальную черту в лице старика — одинокого, умного и неряшливого.

Он господствовал над своим рабочим столом, и двумя стульями, стоящими рядом — грязнейшими стульями, и множеством замусоленных, пропитанных никотином, отвратительных окурков, разбросанных повсюду словно мёртвые тела на поле битвы.

«Дядя Фауст» — как называла его привратница — открыл окно настежь. Высунул голову, и всё лицо его обдал запах сирени, блистательно радующейся месяцу маю, живому, лёгкому, хвастливому, упавшему с солнца, как весёлая поэма света в тридцать одну страницу. Перед окнами старика расстилался скудный монмартрский сад: конфузливая группа из нескольких деревцов бузины, совершенно истощённой от стекавшей на неё с развешанного белья воды, утрамбованная площадка, на которой сейчас стояла Люсьенна, дочь привратницы, десятилетняя девочка, с блуждающими глазами, со вздёрнутым задумчивым носиком, — она стояла и машинально почёсывала через плотное бумажное платье свой маленький зад. У садовой калитки, выходящей на Place de Tertre, старый фокс, весь пожелтевший, как зуб старого курильщика, — пыхтел изо всех сил, всунув нос в крысиную нору. В нижнем этаже дома семейство портного еврея с восторгом слушало игру молодого скрипача, тоже еврея, игравшего галицийскую песенку, звуки которой вихрились в воздухе, как папилютки, поднятые ветром, дующим из гетто.

Дрозд, взобравшись на самую верхнюю перекладину криво подвешенной клетки и раскрыв до самого сердца свой жёлтый клюв, насвистывал первые такты Lison-Lisette. Он насвистывал эту песенку и заканчивал её меланхоличным как подпись внизу письма завитком, вместо росчерка.

Старый Фауст поглядел на птицу. Он хотел было посвистеть, но губы его не издали никакого звука. Тогда он закрыл окно, уселся в своё единственное кресло и начал кашлять. Только это и умел он делать. Он кашлял короткими, жалобными приступами, пользовался всяческими приёмами, клал руку на сердце и заканчивал шумным сморканием. Хотя окно и было закрыто, в комнате всё-таки слышен был дрозд, насвистывавший, как мальчишка в мясной лавке.

«Он молод», — вздохнул Фауст, свёртывая папироску, причём бумага разорвалась, едва он поднёс её к губам, чтобы смочить. Кое-как он поправил эту беду кончиком своего дрожащего, старческого языка. Затем он взял с полки, — на которой были книги, заплесневшие башмаки, коробки от сардин, бутылки, — огромный сборник формул, говорящих об относительности времени согласно вычислениям профессора Эйнштейна.

Постучали в дверь. Старик встал, кряхтя и волоча туфли пошёл открывать. Это Люсьенна принесла почту: контрамарку в Елисейский театр, пригласительный билет на вернисаж выставки картин одного польского художника и два каталога букинистов.

— Это всё? — спросил он.

— Всё! — ответила Люсьенна.

Он закрыл дверь и, приложив ухо к замочной скважине, жадно прислушивался к шуршанью юбочнок Люсьенны, собиравшейся спуститься к себе верхом на перилах лестницы.

Старик бросил почту на стол, затем снова принялся жалобно кашлять, всячески варьируя приёмы, с истой виртуозностью астматика.

Вечерние сумерки украсили маленькие, тихие улочки гирляндой слов, привешенной от одной двери к другой, до самого спуска к улице Saules. Фауст знал, что в это время все местные привратницы гарцуют на своих стульях, выдвинутых на тротуар. Ему не хотелось дефилировать перед этой кавалерией зубоскалок. И старик рано улёгся, в безнадежном свете ещё не закончившегося дня. Иными словами, он укутал тело своё, похожее на ствол виноградной лозы, в старое, разодранное одеяло, которое он собирал в комок на своей щедушной груди.

«Мне, — подумал он почти вслух, — восемьдесят два года и тридцать семь дней. Я коллекционирую дни, как некогда коллекционировал слова. В моей голове — целая коллекция слов на всех языках всех стран, и они сейчас мелькают перед моими глазами словно альбом с почтовыми марками. Мои годы походят на коллекцию открыток, из которых каждая отмечена погашенной маркой. У меня есть годы, укра-

шенные пальмами, другие — походят на молоденькую прачку, поднимающуюся по улице Lerіc, иные — просто в красках, иные меня волнуют вследствие некоторых предрассудков. Ещё в теле моем — восемьдесят два альманаха. Я — хранитель этой библиотеки и музея и в то же время их единственный посетитель. Первый цветок, который я неловко держал между указательным и большим пальцами, была роза; роза и её лепестки грустно увядали по мере того, как я склонял это благоуханное слово. Когда же я приобрёл на всю жизнь уверенность, что творительным падежом во множественном числе заканчивается этот опыт, у меня в руке остался один лишь стебель — с маленьким высохшим сердечком, горьким на вкус».

Жорж Фауст попробовал прикрыть свою голую ногу клочком посеревшей простыни, потом устроил себе темноту перед глазами. Фильм его жизни завертелся перед ним — трюх-трюх-трюх, неритмично и неумело.

Он увидел себя студентом в комнате для занятий, школьником. Он снова пережил свои первые дебюты, когда, будучи ещё молодым профессором грамматики, он обучал искусству писать третью команду «rugby» в одном из провинциальных лицеев. Неясный и грузный силуэт служанки, голова которой покрывалась тысячью грубых, наложенных одна на другую подробностей, напомнил ему давнишнюю нежность его жизни, жизни старого, учёного «дождевого зонта». Книги, нагромождённые грудами, отмечали тогда, как трофеи, его путь. Жизнь его пахла запятнанным пергаментом, истёртой кожей переплётгов, перечным запахом монументального словаря Треву, между страницами которого он видел вновь перед собой засушенные цветы, вызывавшие в памяти какую-нибудь милую мечту среди промозглости колледжа. Поверх всей этой библиотеки, в беспорядке разбросанной по полю его воображения, Жорж Фауст увидел классический силуэт своего легендарного предка.

Знаменитый старец, поместившись перед каким-нибудь «Молотом ведьм», указывал пальцем в зенит. Чёрная собака вычёсывала блох в наиболее освещённом углу рабочего кабинета. Магический круг вертелся, как колесо фортуны на

крышке коробки с сюрпризами. Вся эта сокровенная деятельность сводилась к созданию портрета нагой женщины, в здоровом вкусе, нагой женщины молочной белизны с рыжими волосами, — короче говоря, превосходного экземпляра плотской любви учёного холостяка.

Это видение оставило улыбку на тонких губах Жоржа Фауста. Он хорошо знал эту воображаемую авантюру, поскольку не раз мысленно пускался в неё даже в те далёкие времена, когда был ещё молод, хотя уже сгорблен. Он рассматривал это непристойное явление, как фамильную традицию. Эта девушка с рыжими волосами уже ввергла в вечные муки его предка. Литература и искусство популяризовали эту довольно тёмную историю, и скандал этот был вынесен на все сцены, начиная с тех, где движутся марионетки, и кончая подмостками, получающими субсидии от могущественных государств.

«Марлоу, тот сумел наказать старца», — часто думал Жорж Фауст. И воспоминание о ночи расплаты заставляло его старческое тело дрожать мелкой дрожью, хотя он был и не при чём во всём этом деле.

Один из Фаустов, прямой потомок того, что соблазнил Маргариту, явился во Францию в качестве корректора типографии в конце XVII века. Здесь он женился на одной парижской девушке, отец которой тайно печатал философские сочинения некоторых избежавших сожжения вольнодумцев. У него был сын, который, прослужив солдатом в Швейцарии и руффианом у девушки из Куртейль, возвысился до чина лейтенанта в одной из полубригад итальянской армии. Этот Фауст женился за неделю до брюмерского переворота и через несколько дней умер от таинственного удара, несмотря на то, что его лечили и ртутью и гваяковым деревом. Его жена была беременна сыном, ставшим впоследствии учителем и служителем при храме. Последний тоже оставил после себя сына — угрюмого, рахитичного человека, сделавшегося коммерсантом. Он и был отцом старика, лежавшего на убогой кровати и перебиравшего в своей слабой голове все старые костяные безделушки своего необъяснимого существования, где мыс-

ли, как нежное мясо, скрывались под толстым слоем жира посредственности.

Во власти старческой бессонницы, Жорж Фауст, через полуоткрытое окно, почувствовал присутствие весны, сидящей на подоконнике.

Издалека, с низов Монмартра, до его ушей долетал неясный шум праздника, его ноздри почувствовали запах сирени, вафель и пота весёлых девиц, трущихся в толпе и, подобно спичкам, готовых вспыхнуть каждую минуту. На окраинах Парижа свистели поезда; луна повисла в небе, как сигнал, указующий тем, кто не спит, что Млечный путь свободен. Жорж Фауст прислушивался к этой далёкой жизни, насторожив ухо, наморщив лоб, широко раскрыв глаза. И на стене своей комнаты, где танцевала тень от шнура занавески, старик увидел образ этой давней женщины, этот «фамильный» образ, столь волновавший на склоне дней всех стариков его древней фамилии. Он неловко одел её по своему вкусу: спутанные юбки, которых уже больше не носили, шёлковая розовая комбинация, чёрные чулки, алые подвязки, фетровая шляпа с широкими полями. Он не мог точно воспроизвести на своей, потерявшей чувствительность, сетчатке модель более или менее подходящего корсажа. Одетый таким образом силуэт рыжей женщины представлялся Жоржу Фаусту совершенным образцом моды, с трудом выработанной старым педантом, пропахнувшим яуром. Он усмехнулся, — один, в своей плохо проветренной комнате. И смех его походил на удар друг о друга двух белых фарфоровых чашечек.

Между тем, присутствие весны за окном располагало старика к меланхолии.

«Ты пахнешь крысой», — говорила с гримасой отвращения аллегорическая личность, сидящая у окна на шесте.

Жорж Фауст перевёл это наблюдение на повседневный язык юной Люсьенны. Ребёнок часто распевал одну популярную, довольно таинственную, песенку, припев которой кончался таким чётким образом:

*Et le vioc' derrie'r' la maisaon.*²⁷

²⁷ ...А за домом старичок...

Фауст часто спрашивал себя, что бы могло означать присутствие старика за домом. Люсьенна знала из песенки только эту последнюю строку, — это для неё было и лучше. Но Фауст, часто спрашивавший её о значении этих слов, не мог удержаться, чтобы постоянно не пережёвывать всяческие несложные комбинации, роднившие его с этим таинственным и, конечно, потерявшим бодрость старичком.

Достаточно было запаха майской ночи, чтобы повергнуть его в грустное настроение. Однако эта ночь как-то особенно надрывала ему душу. Его преклонный возраст мешал ему спать. Таким образом он жил ночной жизнью, часто приводившей его в ужас, когда он чувствовал в своём коридоре руку убийцы, нащупывающую с осторожностью сырую, серую стену, — голую и гладкую. Иногда, в такие ночи он с ясностью представлял себе своё положение и принимался оплакивать свою потерянную молодость, прожитую кое-как, исковерканную демоном его семьи, который кончал всегда тем, что являлся восьмидесятилетним потомкам в ослепительном блеске магического сочетанья.

«Разве человек может быть так глуп, — подумал Фауст, натягивая простыню на свой нос старого зубоскала, — разве человек может быть так глуп, чтобы отказаться обменять свою душу на новую молодость?..»

Он протянул руку, взял из жестяной коробки лакричную лепёшку и иссосал её с тысячью предосторожностей между беззубыми дёснами, — дёснами старой лошади, сделанными из розовой конской кожи.

Какой-то жилец грубо захлопнул входную калитку. Он крикнул своё имя, которое старик слушал ещё долго, ибо голос этот трепетал в воздухе, как гонг, а старому Фаусту больше не хотелось думать. Оторванный от своих мыслей, он, широко раскрыв глаза, созерцал свою убогую мебель, свои стены, свои заледеневшие ноги: это заменяло ему сон.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Жорж Фауст проснулся внезапно — ему помешал солнечный луч, танцевавший на его лице, как зайчик, отражённый зеркалом в руке какого-нибудь шалуна. Он чихнул так, что едва не надорвался — и минуту или две лежал неподвижно, совершенно уничтоженный.

Ему предлагал себя длинный, полный, розовый, как женщина, день. Фауст вскочил с постели и оделся, теряя все свои тряпки, в состоянии, близком к весёлости.

Он подошёл к газовой грелке и приготовил себе завтрак, как всегда, каждое утро. Рассеянно поедая хлеб, смоченный в молоке, он увидел вдруг своё лицо, выпеченное и перепечённое за восемьдесят лет солнечным и искусственным светом. Он посмотрел на свою лёгкую, мшистую белую бороду, растилавшуюся на полураскрытой рубашке. Он отвернул бороду ладонью, стараясь обнаружить очертанья подбородка, дабы увидеть подлинную форму своего лица. И вдруг он решил сбрить бороду и усы.

Эта мысль привела его в бешеную радость. Взяв ножницы для разрезания бумаги, он приступил к операции. Вскоре на его щеках, губах и подбородке осталось только что-то вроде короткой шерсти, напоминавшей шерсть фокстерьера и серебрившей ему кожу. Не задерживаясь на созерцании этой временной трансформации, он намылился и тщательно побрился. Закончив процедуру, он убедился, что лицо его обтаяло. Ему показалось, что оно величиной не больше ореха. Он тупо рассматривал себя, совершенно не узнавая. И в новом лице, только что им созданном, он не находил своих старых привычек. В таком виде он походил на старую черепаху, целиком лишённую верхнего щита. Бесспорно было одно — эта операция молодила его, — вернее заставляла его на несколько дней, хоть на несколько дней, пока он не привыкнет к своей новой маске, позабыть о своих годах.

«Это — лицо бессмертия», — подумал Фауст.

Он с восторгом созерцал священный характер своего безволосого лица, затем попробовал посвистать, ибо в него проникала радость до сих пор ему самому не ведомым путём.

— Хорошо, если бы можно было отрезать бороду всему, что окружает меня в этой комнате, начиная с этих четырёх стен, кончая журналами, накопившимися за дверью в уборную, — Фауст произнёс эти слова новым незнакомым ему голосом. Он попробовал уловить новые интонации в своём голосе и повторил несколько раз, смеясь, как ребёнок: — уборная... уборная... дверь... борода...

— Это восхитительно, — произнёс он, машинально пытаясь потянуть бороду. Рука его встретила пустоту, но с беспокойством пощупала мягкую, в складках, кожу щёк и шеи, свисавшую как у индюка.

Тогда он подумал, что никакое человеческое вмешательство не сможет омолодить его сюртука, распластанного на спинке стула. Перспектива заключить своё тело в это омерзительное одеяние обескуражила старика, ещё не совсем привыкшего держать руки в контакте с этой, столь неожиданно обнаружившейся кожей, принявшей такой вид, о котором он и не подозревал.

Двести-триста книг загромождали полки, занимавшие одну из сторон комнаты. Там были устарелые научные труды, книги стихов, поднесённые товарищами по пивной, следы которых он давно потерял, латинские грамматики, латинские классики, переплетённые в зелёный холст. «Фауст» Марлоу, в издании Мишель-Леви, стоял рядом с «Фаустом» Вольфганга Гёте, в романтическом издании, довольно хорошей сохранности. Несколько сочинений на немецком языке о возникновении легенды о Фаусте занимали полку рядом с запylённым графином, который приподнёс ему когда-то фабрикант вермута. Нижние полки заполняли словари: словарь Треву в семи томах, Дармштетер, Ля Кюрье де Сент-Палей, Кишра и один том Александра в его обычном сером, полотняном футляре. Фауст долго рассматривал свою библиотеку. Он брал каждый том, хлопал по нему руками, чтобы выколотить пыль, соскабливал перочинным ножом стеариновые пятна, запачкавшие переплёт.

Приведя в порядок свои полки, он поспешно надел сюртук и взял шляпу. Тщательно заперев за собой дверь, он начал спускаться по лестнице, ступенька за ступенькой, охая и кряхтя. Сзади, нагнав его, скакала на одной ноге Люсьенна, сразу через три ступеньки. Фауст посторонился, чтобы пропустить её. Девчонка проскользнула перед ним, как ящерица, даже не взглянув на него. Старик, ворча себе под нос, наконец выбрался на двор. Он долго дышал, чтобы перевести дух, и посмотрел на голубое небо, обнажив малиновые дёсны.

В нескольких шагах от дома Жорж Фауст зашёл в лавочку букиниста, которого знал уже несколько лет.

— Не можете ли вы зайти ко мне, я хочу продать кое-какие книги.

В тот же вечер, на деньги, вырученные от продажи, Фауст купил себе готовый костюм из серого шевиота, фетровую шляпу, бельё и жёлтые ботинки. Вокруг стоячего прямого воротничка с загнутыми углами он повязал синий, в белую горошинку, галстук. Прежде чем выйти из дома, он ещё раз посмотрелся в зеркало — и отправился обедать на терраску маленького ресторанчика на площади Constantin-Ressqueur. На пустынном пути запущенного воображения Жоржа Фауста внезапно вспыхнул свет, как от огонька папиросы.

Парижский вечер, вместо того, чтобы спуститься с неба, выходил из асфальта и деревянных мостовых, с тысячами огней, рассеянных словно цветы на лугу, купающемся в коварном и мягком, как эманация медиума, тумане. Необычайные сооружения для починки путей ставили на шоссе цветочные горшки, в которых распускался, в форме пятиконечной звезды, электрический цветок. Фауст впервые воспринимал социальную фантастику своего времени. Его ослабевшие глаза следили за трамвайным проводом и маленьким, голубым электрическим пламенем, убегавшим в даль. Глубокая тишина отделяла дневной шум от будущих радостных криков ночи, едва приоткрывшейся.

Сидя на скамейке бульвара Roucheschouart между какой-то женщиной неопределённого возраста и полицейским агентом задумчивого вида, старый профессор вдыхал парижскую

ночь, погружённый в какое-то сладостное оцепенение, оценить которое он не мог за неимением данных для сравнения.

Между тем ночь представляла перед ним, словно зрелище, до тех пор запрещённое. В тени опустевших на несколько часов улиц он смутно ощущал какое-то романтическое беспокойство. Присутствие женщин волновало его, как трудно разрешимая метафизическая гипотеза. Он решительно ничего не знал о женщинах улицы: он знал их только подурневшими в плачевном неглиже раннего утра. Они производили на него впечатление солицизма или варваризма в любовной идиллии Феокрита. Он знал женскую наготу только по аллегорическим рисункам, изображающим Судьбу, Славу, Науку, Земледелие и Промышленность. Их суровые лица и гладкие животы не вызывали в нём никакого волнения. Он заметил также, что нищета, как хорошая краска, «брала» лучше старых женщин, нежели стариков. Пожилая женщина, неподвижно сидевшая рядом с ним на скамейке, вдруг напомнила ему его отрезанную белую бороду. Суждения профессора Фауста никогда не следовали ассоциациям «по нелепости». Он был крайне поражён и почти сконфужен этим необъяснимым сопоставлением. Он пересел на другую скамейку и сел рядом с девицей лёгкого поведения, на вид лет двадцати; она с беспокойной наглостью смотрела на деревья бульвара, на огни тротуаров. Она была некрасива, в забавной шляпке. Девушка немного посторонилась, чтобы дать место этому старику, такому слабому, что, казалось, достаточно сказать ему что-нибудь на ухо, — и он треснет.

— Прекрасный вечер сегодня, — сказал Фауст, обращаясь к соседке.

— Да, если не польёт к полуночи.

Фауст спрятал голову в воротник. Он подумал о знаменитом профессоре, своём предке, о той Маргарите, которую он встретил на улице. Эта мысль пробудила в нём сознание возможности тайны и чуда.

Доктор Фаустус встретил Маргариту на улице, при искусственном освещении, изобретённом людьми его времени. Это было после продажи души, он мог ходить по улицам, слегка покачиваясь, как истый соблазнитель девиц. Он знал

также места, предназначенные для соблазна девиц. В те времена этому служили тоже улица и мосты, как Pont du Nord, где Адель щеголяла в своём золотом поясе, да ещё лужайки в городских предместьях, — лужайки, написанные с тысячью подробностей Дюрером во славу девушек, жаловавших всех этих ландскнехтов, клерков, горожан и профессоров, посещавших полнолицых подружек белобородых блюстителей порядка.

Но теперь, в 1924, где могли соединиться статисты чувственных развлечений и среди какого пейзажа? Какой клиент проституции или тайной фантазии женщин мог бы указать пустынное поле шабаша или красный свет бань, набухших песнями?

«Эта молодая девушка, — решил Фауст про себя и не без вежливости, — эта молодая девушка, быть может, могла бы дать мне указания».

Он кашлянул, дабы укрепить голос и, растянув рот в отвратительную улыбку, спросил:

— Мадемуазель!.. Не знаете ли, где здесь можно поселиться?

Женщина повернулась к старику и, тоже раскрыв рот, посмотрела в упор на своего собеседника.

Она сказала:

— Меня зовут Анжеллой, Анжеллой-нормандкой. Если хочешь, я буду доброй, но только поведи меня куда-нибудь выпить стаканчик, — куда хочешь, хоть в пивную — вон туда, если хочешь...

Она поднялась, Фауст последовал за ней. Когда гарсон подал напитки, профессор сказал Анжелле:

— Я уж не очень молод... Мне шестьдесят семь лет...

Он назвал эту цифру, которая, как ему казалось, была пределом значительного омоложения.

— Ты выглядишь моложе, — сказала девушка, делая вид, что смотрит на него серьёзно. — Тебе можно дать лет сорок пять... Ты очень хорошо одет... Где ты работаешь? В кинематографе?

— Я человек бесполезный, — ответил он.

— Ты позволишь? — сказала Анжелла. И, не успев ещё Фауст согласиться кивком головы, как она вскочила одним прыжком и побежала навстречу молодому человеку, довольно элегантно одетому, типа спортсмена-буржуа. Он слегка прихрамывал и, несмотря на все ухищрения, его левый ботинок деформировался, сжимаясь в какой-то своеобразный рисунок.

Анжелла говорила с молодым человеком, лица которого Фауст не мог увидеть, с живостью фамильярной и вызывающей. Под конец молодой человек вынул из кармана стило, написал несколько слов в очень маленькой записной книжке и естественным движением протянул перо Анжелле, откровенно положившей его в свою сумочку. Она вернулась к Фаусту, который терпеливо её ждал.

— Это Леон, — сказала она без дальнейших объяснений.

Затем она взяла стило, отвинтила его и внимательно посмотрела внутрь трубочки. Фауст успел заметить, что трубочка наполнена белым порошком. Анжелла снова положила вещь в сумку.

— Итак, — сказала она, — ты хочешь веселиться?

— То есть... — пробормотал старик.

— Идём сегодня ночью в Saharet. Ты увидишь там всяких танцующих женщин и мужчин вроде тебя, пьющих шампанское. Я тебя познакомлю с девчонками, если хочешь «сделать партию».

— Оно далеко, это учреждение? — спросил Фауст.

— Нет... на углу, около площади Pigalle...

— Мадемуазель, вы очень милы, но я думаю, что не смогу вас сопровождать сегодня.

— А! — сказала Анжелла... — Ну, тогда, мой дорогой, до следующего раза...

Она встала, пожала его руку, которую тот протянул, и пошла по дороге между деревьями.

Оставшись один, на террасе пивной, Фауст всё время нащупывал пустое место, где была борода. Потом он долго обшаривал все карманы своего нового костюма, — холодные, чистые карманы, к которым он ещё не привык. Наконец, он

нашёл свои банковые билеты. У него оставалось двести пятьдесят франков. Заплатив гарсону, он пошёл продолжать прогулку.

Вдали лиловый свет дуговых фонарей, красные и жёлтые огни увеселительных мест привлекали к себе мужчин и женщин не меньше, чем какая-нибудь уличная драка. Фауст медленными шагами направился к тому месту, которое, — он это предчувствовал, — должно было явиться конечной целью его путешествия.

Он снова всплывал наверх, как лёгкий пузырь, из глубины тысячелетий, чтобы бросить свои последние силы в абсолютный философский расцвет. Он готов был на все литературные жертвы, чтобы войти в смерть, как входят в Monico или Mitchell.

Он хотел познать бога посредством джаз-банда и проникнуть в вечность — с этикеткой на спине сюртука: 1924.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Saharet... Saharet... Красные буквы сверкали, прикрепленные в ночи, так близко, что их, казалось, можно было достать рукой; затем, потускнев, исчезали, чтобы возродиться вновь, одна за другой, на секунду задержавшись, как взгляд девушки, увлекающий клиента. Они исчезали автоматически. По многочисленным туннелям быстро пробежала огненная зелёная змея в погоне за рассветом. Через окна и запертые двери протекала в ночную бездну, как божественный ручей, мелодия джаз-банда между каждым сверкающим появлением слова: Saharet.

Подняв голову к размалёванному небу улицы, Фауст осторожно проскользнул между роскошными экипажами и отдыхающими такси в тёмном центре площади Pigalle. Мужчины, мобилизуемые каждый вечер для праздничных нужд, выжидательно подпирали косяки дверей ночных заведений, у которых бесшумно останавливались по свистку тощего лакея или исполинского швейцара большие, закрытые экипажи.

Фауст, сам того не желая, очутился перед дверью в Saharet, — красной, горячей дверью, как слюдяная дверца затопленной печки. Перед ним какой-то великан, весь в галунах, с поклоном пропускал рыжую женщину со стриженными волосами, с фиолетовыми глазами, зелёное платье которой казалось свежим как салат. Фауст посмотрел на это серафическое существо, оно произвело на него глубокое, немного тревожное впечатление некоего лабораторного создания. Он почувствовал, что судьба толкает его в неведомый мир и что он не в силах произвольно выбрать дорогу. Старик прошёл мимо швейцара и стал медленно подниматься по лестнице, упиравшейся в две-три голых женских спины у входа в раздевальню. Музыкальное прыганье, смущаемое мелкой грозой четырёх совокупленных барабанов, разделявало английский романс, ставший трогательным до слёз от участия аккордеона, глухой трубы и саксофона с голосом сирены.

Фауст, растопырив перед грудью руки, как два погашенных автомобильных фонаря, и семена ножками, проник в

залу, красную с белым, посредине которой на вылощенном отражавшем её паркете плясала испанская танцовщица, отбивая какой-то народный мотив каблуками и энергичными кастаньетами.

Гарсон указал на ослепительный стол и приоткрыл красную бархатную банкетку, на которой Фауст тотчас, совершенно машинально, принял позу, вполне согласованную в этом, пока ещё бесформенном, лиризме с точной суммой его ресурсов. Он ещё твёрдо чувствовал почву под ногами, благодаря присутствию двухсот пятидесяти франков. Он заказал бутылку шампанского за семьдесят пять франков, и в ожидании посасывал сухое печенье в форме трубочки. Всё смешалось у него перед глазами. Он приобщался с почти комичной поспешностью к рождению, заблуждениям и расцвету полночной цивилизации. Он замечал туманности танцовщиц, лёгкий пар джаз-банда, финансистов и мадрепоров, которые могли показаться вполне культурными. Всё это как будто дисциплинировалось в смешении неистовых ног, не согласовавшихся с благопристойностью бюстов, раскачиваемых, как шхуны при лёгком бризе, в серьёзном танце. Фауст закрыл глаза, выпил глоток шампанского, и в голове его зажглись четыре лампы: четыре лампы возле громкоговорителя. И никогда впоследствии не мог он постичь, почему услышал он вдруг громкий, нечеловеческий голос, прогремевший в его бледные уши необъяснимые слова: «Второй раунд».

Две девочки, розовые и малиновые, сплетались неким комментарием к половому инстинкту. Хорошенькая негрятянка пропела по-английски о ребячествах Норы. В этом салоне, красном с золотом, Фауст обрёл вновь предательское спокойствие детских книг *Bibliothe'que Rose*; он невольно склонился на плечо своей соседки, — рыжей женщины в зелёном платье, — которая тихонько без малейших колебаний посадила его на своё место. Он поклонился, желая извиниться, указал на бутылку шампанского, и женщина придвинулась к нему.

— Пригласите этого молодого человека — он здесь вместе со мной. Это вас не стеснит?

Фауст согласился, и какой-то молодой человек, которого он сначала не заметил, — он был заслонён своей соседкой, — взяв стул, подсел к парочке.

— Это Леон, — сказала женщина. Голос у неё был не грубый.

Фауст заказал вторую бутылку шампанского, — она должна была истощить его ресурсы; но это ничуть его не смущало: он чувствовал, что это — его ночь, традиционная ночь его рода, — ночь, осенённая образом, легендой, гением двух писателей.

Девушка тихонько напевала:

We have no bananas to day.

Леон постукивал по столу, аккомпанируя джаз-банду. Это был хорошенький молодой человек с матовым, нежным лицом, обыкновенным, с маленькими усиками.

— Вы живёте не в Париже? — спросил он.

— Нет, я живу в Париже, — ответил старик, — и меня — не знаю, почему я даю вам эту справку — зовут Фаустом.

— Случайно? — спросил молодой человек, всё более и более ласковый.

— Ах, боже мой, нет. Меня зовут Фаустом. Это имя должно быть вам известно, если вы сколько-нибудь знакомы с литературой.

— Но, сударь, — сказал молодой человек, — я, быть может, вас удивлю, но я знавал давненько некоего Фауста, который, как говорят, избобрёл книгопечатание, ухаживал за крестьянами во время чумы и закончил свою филантропическую карьеру в достаточной мере скандально для тогдашнего времени.

— О! Скандально... — запротестовал Фауст с некоторой меланхолией.

— Разрешите, я укажу вам на один факт, не комментируя его лично.

Он посмотрел вокруг себя быстрым, слишком ловким взглядом. Рыжая женщина танцевала с слегка подкрашенным американцем. Тогда молодой человек нагнулся к Фаусту.

— Вот сейчас, когда эта женщина уйдёт, я кое-что сообщу вам, и вы должны сохранить это про себя. Подождите, вот этот тип уведёт её, и я предложу вам...

— Что? — спросил Фауст.

— Одно дельце. Одно маленькое дельце...

— Но, — сказал профессор... — я вовсе не хочу, чтобы эта женщина исчезала. Я знаю (он выпил ещё бокал шампанского), что начинаю сегодня мою ночь на Блокберге. Ещё вчера я еле влачил свои тяжёлые черепаши лапы по бесплодным скалам горных уступов. В эту ночь, в мою ночь, mein Herr, праздник всех пяти чувств начинается в мою честь; мой нос вдыхает сатанинскую музыку этих молодых негров, мои глаза видят целые семьи звуков у крышки рояля, мои пальцы касаются жирной и чувственной тайны, уши мои слышат ропот желаний, взбунтовавшихся за стеной своей тюрьмы, и глаза, мои бедные, старые глаза, ещё видят просвечивающие сквозь ткани тела. И поэтому, сударь, я различаю голое тело этой рыжей женщины сквозь её платье, такое зелёное и лёгкое. Я не хочу, mein Herr, чтобы эта женщина исчезла раньше, чем пропоёт первый петух.

— Петух не запоёт, а мне нравится геральдика ваших пяти чувств. Разрешите мне предложить вам шампанского?

Молодой человек усмехнулся и небрежно кинул имя Эмиль. Метр-д'отель принёс тучную бутылку в ведре со льдом.

— За вашу ночь!

И Леон поднял бокал до уровня глаз.

Фауст неловко привстал между столом и банкеткой и поднёс свой бокал к бокалу собеседника.

— Предположите, — сказал Леон, покусывая усы, — что я предлагаю вам классическую сделку... вечную авантюру, соблазнившую вашего предка... согласитесь ли вы поставить вашу подпись внизу под актом?

— Всего только продажа души, — ответил профессор.

— Вы правы. Та ли душа, или другая это абсолютно равноценно с коммерческой точки зрения. Послушайте, я торгую душами и могу предложить вам хорошую сделку: я даю вам молодость, взамен вашей души, по курсу дня, со

всеми вашими сомнениями, сожалениями, надеждами. Я привык к подобного рода сделкам, хотя обычно пользуюсь гораздо менее романтической процедурой. Большею частью я покупаю души косвенными средствами, с гарантией безболезненности. Ваша образованность, ваши фамильные воспоминания побуждают меня использовать ныне уже не употребительную церемонию из дешёвых книжонок в голубых переплётках. Я покупаю у вас вашу душу, мёсье Фауст.

— За какую цену? — спросил профессор, дрожащий от волнения.

— В обмен на элегантную молодость до конца ваших дней, намеченного властью, которая ускользает из-под моего контроля.

— Мне восемьдесят два года, — вздохнул, усмехаясь, Фауст: — сделка не очень-то соблазнительна.

— Если я омоложу вас, скажем, на шестьдесят лет, я могу вам гарантировать сверхъестественную жизнь, по продолжительности равную той, которой вы жили, как...

— Я знаю, — сказал Фауст, — по вашему мнению, я стало быть буду жить минимум шестьдесят лет под видом двадцатилетнего юноши?

— Да, именно так. Условия, на которые согласился ваш предок, были те же, что я предлагаю вам.

— Тогда... — вздохнул Фауст.

Он поднял свой бокал и поднёс его к лицу рыжей женщины, которая, немного запыхавшись, снова села на прежнее место рядом с ними.

— Как вас зовут, мадемуазель? — спросил Фауст, настораживаясь.

— Меня зовут Маргарита, Ночная Маргарита, потому что я сплю до семи часов вечера и не могу лечь в постель раньше семи часов утра. Я хожу каждое утро вот в таком же туалете, как сейчас, пить белое вино в табачную контору на улице Fontaine.

— Маргарита, — вздохнул Фауст.

— Как я вам и говорил, — объявил Леон, вертя папироской.

— Вы позволите?.. — сказала Ночная Маргарита.

Она не дождалась согласия мужчин. Джаз-банд теперь умерил скорость, стал отрывочней; пары кружились, делая мелкие шаги. Маргарита прицепилась к гибкому телу кавалера. Грохот трёх барабанов благословил их союз.

Старый Фауст запустил руки в карманы своих брюк и, с папироской в губах, следил глазами за женщиной.

— У вас уже манеры молодого человека, — сказал, смеясь, Леон.

— Когда подписывать?— спросил профессор, не вынимая изо рта папиросы.

— Позвольте мне, по крайней мере, заплатить... Я не допущу...

Леон просмотрел счёт и попросил верхнее платье.

— Эй, постойте, — сказал Фауст, — когда же я увижу вновь Ночную Маргариту?

— Вы её увидите завтра. Перед вами ещё целое существование, вы успеете её узнать.

— Какая авантюра! — вздохнул Фауст.

Профессор и молодой человек направились, не говоря ни слова, в маленькое кафе на улице Abbesses. Фауст заметил, что его красивый спутник хромает, и тогда только он узнал в нём человека, говорившего с девушкой на бульваре в начале той же ночи.

Когда они вошли в бар, какая-то женщина вскрикнула и бросилась к Леону.

— У тебя «сате», — сказала она тихо.

Но Леон поразил её одним взглядом, пригвоздив девушку к оловянной стойке. Мужчины прошли в задний зал, пустой, где только гарсон спал, вытянувшись на скамейке.

— Подай нам грог, — приказал Леон, — и оставь нас в покое.

Когда грог был подан и гарсон исчез, Леон вынул из портфеля бумагу и положил её на стол рядом со своим стилем.

— Для вашей подписи мне достаточно будет небольшого количества крови. Не бойтесь ничего, — это безболезненно.

Леон взял бумагу и прочёл вполголоса: «Я обязуюсь отдать в распоряжение Князя Тьмы, он же господин Леон, — душу мою, 25 числа мая месяца 2000 г.».

— Вы согласны?

— Да, — ответил Фауст — но, ради всего святого, не делайте мне больно.

— Я привык.

Леон поцарапал ухо раскрасневшегося старика. Просочилась красная капелька, которую он взял на кончик золотого пера.

— Оставьте и мне какой-нибудь шанс, — сказал Фауст с беспокойством, осторожно трогая своё поцарапанное ухо.

— Я американец на все 100%, — усмехнулся Леон.

— Ну, тогда прибавьте ещё один пункт к этой расписке: «Я даю право господину профессору Фаусту заменить его подпись подписью другого лица, которое согласится подписать это обязательство своей кровью и которое, благодаря этой операции, должно мне отдать свою душу в день обмена, взамен души того лица, которое подпишет первым. Последний подписавший эту бумагу и будет ответственен за выполнение обязательства».

— Вы или другой — мне безразлично, — сказал Леон.

И Фауст подписался внизу, под словами: «сделано в двух экземплярах в Париже 25 июня 1924».

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Фауст расстался с демоном, не преминув обменяться с Повелителем адресами. Он возвращался к себе при ужасном, зеленоватом свете раннего утра; руки и лицо его были запачканы ночной грязью. Он семеня спотыкающимися, мелкими шажками. Он спешил вдоль спящих ещё домов, как запоздавшая крыса к себе в нору. Теперь, когда великолепная сделка была освещена обменом классических подписей, — теперь он спрашивал себя, во внутреннем ослеплении умственного беспорядка, когда же, в какую минуту совершится перемена во всей его персоне? Оставит ли он свою старую, изболевшую кожу на каком-нибудь плоском камне, как лияющая змея? Испытает ли он ужасный кризис, который потрясёт его старые кости чудовищным содроганием? Подойдёт ли он к возрождению совсем тихо, с приятной плавностью двух декораций, переставляющихся на глазах у публики?

Фауст спешил домой; он держался рукой за грудь, когда сильный приступ кашля склонил его к земле.

Он пытался подметить омоложение своего кашля, а в груди — какие-нибудь знаки сопротивления физической дряхлости. Ворота дома, в котором он жил, были ещё закрыты, и площадь Tertre отдыхала ещё в спокойствии, пахнущем скипидаром, мастерской и старой палитрой. Восточный и Северный вокзалы со всей скоростью пускали свои свистящие поезда на завоевание стрелочных постов, дрожащих, как от озноба, электрическим светом в тумане раннего утра.

Едва ступив на первую ступеньку лестницы, Фауст почувствовал такую слабость, что должен был прислониться к сырой стене. Он притворился пьяным, борясь с аномальным ослаблением тела и, особенно, с коварной дурнотой, которая, как он чувствовал, возникает откуда-то издалека в нём самом. Воспользовавшись наступившим улучшением, он стал подниматься по лестнице. Это восхождение показалось ему бесконечным; он останавливался на каждом этаже передохнуть. Добравшись до своей комнаты, он машинально закрыл дверь, разделся в некоей буре, отбрасывавшей его от одного пред-

мета к другому, и рухнул на постель. Тогда ему показалось, несмотря на дневной свет, рассеявший все тени в комнате, что кровать его начинает очень медленно и победоносно перемещаться куда-то. Он уцепился за простыни, закрыл глаза, — он потерял доверие к обещаниям Леона; ему показалось, что он умирает, — мысль за мыслью, образ за образом, часть за частью.

Профессор Фауст проснулся на следующий день в десять часов утра. Солнце играло на его лице. По его жилам циркулировало чудо. Он бессознательно вскочил с постели, увидел в радостном миге озаренья свои крепкие колени и ноги. Он увидел руки свои, которые, как ему показалось, были вылеплены из тела молодой девушки, — белые, сильные руки. Он нагнулся, дотронулся до кончика ноги, не сгибая колен, и, когда встал, зеркало отразило лицо привлекательного молодого человека, очень красивого молодого человека, типа 1924. Мягкие, густые волосы каштанового цвета наполнили его чувством удовлетворения. Он сбросил свою смешную рубашку и встал на стул, чтобы лучше разглядеть обнажённое тело.

— Свершилось, — сказал он громким голосом.

Очарованье собственного голоса поразило его больше, нежели нечеловеческое превращение тела. Он запел:

Marguerite... Sois maudi-ite...

Затем он погрузил голову в таз с водой. Грязь этой посуды, которой раньше он не замечал, заставила его отступить назад. «Разве ты можешь так жить? — сказал он весело. — Ведь это обиталище какого-то сапожного подмастерья!»

Новые слова, как весенние цветы, естественно, сами собой, приходили на уста.

«Это уж настоящая гадость!..»

Он взял свои одежды, подкинул на руке.

«Придётся переменить покрой костюма!»

Он пересмотрел все карманы и констатировал полное оскудение финансовых возможностей.

«Ни копыя!» — объявил он. Это выражение показалось ему столь не похожим на его обычные, что он невольно рассмеялся.

И собственный смех восхитил его, как смех любимой женщины. Он оделся и, облачённый в свой старый костюм, пустоты которого он теперь заполнял, высунулся в окно и стал смотреть в маленький садик, произведший на него почти ужасающее впечатление своим отступлением в минувшее. Вид юной Люсьенны, направлявшейся вприпрыжку к его лестнице, с бидоном молока, которым она невероятно размахивала, заставил его отскочить от окна и спрятать голову. С бьющимся в новом молодом ритме сердцем он сел у стола, ибо одно осложнение, внезапно возникшее из прошлого, обязывала его рассматривать своё возрождение, как серьёзное и компрометирующее дело.

Он услышал, как девочка постучала в дверь.

— Поставь молоко там; ладно, я ещё лежу. — Он скрывал свой голос заимствованным тембром, потому лишь напомиравшим ему старческий, что сам он был в том уверен.

Фауст услышал, как девочка кубарем слетела по ступенькам.

«Мне капут, — подумал он, — если кто-нибудь из этого дома меня увидит. Я чувствую себя неспособным объяснить всю эту авантюру моим соседям, а наличность моей привлекательной физиономии значительно повредит памяти о старом Фаусте, исчезновение которого я, разумеется, никогда не смогу объяснить. Всё это весьма сложно. У меня есть сто франков, это точно установлено... Придётся дожидаться ночи — и тогда я исчезну, оставив эту конуру со всем её содержанием в жертву нападениям общественного любопытства».

Фауст осторожно приоткрыл дверь, взял бутылки с молоком, утренним и вчерашним, и стал подкрепляться в ожидании побега.

«Пойду, полопаю в ресторане», подумал он. Но тотчас поймал себя: «Почему полопаю? Разве я не могу сказать — поем?». Он улыбнулся: «Ах, молодость!».

Неделю спустя после этого чуда, Фауст обрёл уж все привычки молодости и в то же время потерял стремление к её

преимуществам. Весь его жизненный опыт, доставшийся дорогой ценой бесчисленных, бесславных жертв, рассеивался теперь перед могучестью его мускулов и пылкостью его новых инстинктов. Всё зло, перенесённое без особого сопротивления его прежней особой, сохраняло ещё свои глубокие корни, но Фауст стремился использовать всё это как благоприобретённую силу, как некий кошелёк, как средство защиты, — против новых нападений жизни.

Он переехал со старой квартиры и жил теперь в отеле, близ площади Pigalle. Между прочим, он жил в том же отеле, где и Властелин чувственных вожделений, который, под безобидным именем Леона, продавал «снег» сотням девушек, постепенно разлагавшимся. Фауст встретил здесь Леона совершенно случайно, спускаясь по лестнице. Эта встреча не доставила ему ни малейшего удовольствия. Он знал, что в его кармане был документ, который нельзя было ни уничтожить, ни потерять. Ему оставался один шанс на спасение — найти какого-нибудь субъекта, достаточно обессиленного и подавленного, который бы принял на себя выданное им обязательство. Фауст уже представлял себе тысячи возможностей завязать знакомство с какими-нибудь худосочными стариками — каким он был сам, — волнуемыми последним энтузиазмом чувственных комбинаций.

Одетый на манер какого-нибудь франта, экипировавшегося в долг у сомнительного портного, без копейки денег, — ибо, будучи менее покровительствуем, нежели его предок, он не обладал ничем, что могло бы ему позволить вести праздное и денежное существование, — профессор Фауст разгуливал со своими, теперь бесполезными познаниями, по всем местам Парижа, где применение их казалось как бы запрещённым. Все достижения его прежней жизни теперь, когда он изменил свою внешность, ничем не могли ему послужить. Он искал всяческих предлогов, чтоб вступить в связь с людьми, которых знал прежде. Но они не узнавали его. Что же касается выгоды, которую профессор Фауст мог бы извлечь из этих посредственных личностей, то она была совершенно ничтожна. В один из тяжёлых часов душевной депрессии, Леон посвятил молодого Фауста в свои дела. Он поручил ему доволь-

но неясную роль сборщика и дал ему кое-какую субсидию, что позволило его протеже существовать и, по крайней мере, иметь чистое бельё. Фауст проводил ночи в дансингах и кабачках Монмартра. Каждую ночь дюжина джаз-бандов питала его силы, бесплодные днём. И вот, в одну из жарких июльских ночей, уже замаранную приготовлениями к национальному празднику, Фауст очутился за столиком на террасе маленького кабачка, на бульваре Rochecouart. Мимо него прошла женщина и улыбнулась ему. Фауст узнал Ночную Маргариту — рыжую, розовую и белую, в костюме из саржи цвета морской волны. Новоявленный юноша не видал Маргариты с той самой знаменитой ночи. Он поднял руку жестом внезапного призыва. Девушка села рядом с ним. Их колени соприкасались.

— Ты недурён, — сказала девушка. — Как тебя зовут?

— Жорж. — Он решился попробовать: — Жорж Фауст.

— Вижу по твоим глазам, что ты, должно быть, без предрассудков.

— Увы! — ответил Фауст, иронически склоняя своё лицо херувима.

— Плут! — сказала девушка.

Фауст уже научился копировать наиболее изысканные позы своего Властелина. Он прельстил Ночную Маргариту каким-то особым, невыразимым соблазном, в котором было два элемента: фотогеническая энергия боксового тренера и заученное добродушие совсем простоватого школьника. Когда он почесал свой хрупкий затылок под короткими волосами, молодая женщина совсем разомлела, и глаза её затуманились в любовном экстазе. Был час обеда.

— Ты возьмёшь меня с собой? — сказала Маргарита, тоном маленькой девочки.

— У меня нет ни гроша!

Молодая женщина даже покраснела от удовольствия. Вся эта авантюра склонялась в её пользу, ничуть не нарушая её сентиментальных предрассудков.

— Идём, мальчуган, — сказала она.

Она повторила, как Антей, дотрагивающийся до земли и черпающий силы:

— Мальчуган... мой мальчуган!..

Старый Фауст, иногда вновь мелькавший в потёмках мысли, обнаруживал по временам своё учёное присутствие. Слова, произнесённые девушкой, привели в необычайное раздражение молодого повелителя Маргариты. Он сказал грубо:

— Не зови меня мальчуганом!

Маргарита посмотрела на него обезумевшими глазами.

— Никаких мальчуганов, ни хорошеньких мальчиков, ни милашек, — ничего подобного между нами чтобы не было!

Он поцеловал её долгим поцелуем, — ему хотелось есть и хотелось этого тела, которого он жаждал с последней ночи своей старости.

На бульваре Rochechouart, на углу улицы Lepic они затерялись в толпе, поднимавшейся к Moulin de la Galette; она преследовала их, как нашествие молчаливых варваров. Маргарита, которую любовь делала более благородной, шла рядом с Фаустом. Она наблюдала уголком глаза красивое лицо молодого человека, и каждый раз, когда видела его улыбающимся, улыбалась сама, счастливая и притихшая, при звуках оркестра Moulin de la Galette, — увеселявшего, казалось, пассажиров какого-нибудь трансатлантического фантома.

Жорж Фауст увлёк свою спутницу в маленький ресторанчик de la Butte. Им накрыли столик в беседке, увитой жимолостью. Рядом с ними, в тени другой беседки, говорила какая-то женщина, гнусавя и поблёскивая маленькой красной точкой папироски. В конце улицы, в монастыре, пели сироты. Их молодые голоса очищали воздух, как душистая курительная бумага.

— Ты слышишь... девчонки? — сказала Маргарита, смеясь.

Фауст закурил папиросу. Природа, населённая консержами, аккордеонами и девочками с жалобными голосами, тотчас заявила о своём присутствии, как только сироты улеглись спать. Все эти шумы, мало-помалу, стирались в глухом, отдалённом стуке поезда, последнего поезда с Северного вокзала, уносящего каждый вечер, как хозяйственные нечистоты, дневные шумы Парижа.

— Хорошо, — сказала Маргарита совсем тихо.

Фауст протянул ей руку, которую она задержала в своей, как молитвенник в переплётё под слоновую кость.

«Я отдыхаю, я отдыхаю, — думала Маргарита, — я купаюсь, я погружаюсь в дружескую влагу!» И без всякого перехода она высвободила руку Фауста, растрепала волосы и запела тонким, фальшивым голосом:

*Yes we have no bananas
We have no bananas to day.*

Партнёр её насвистывал тот же мотив, подражая ударами ножа то о графин, то о чашку, то о стакан или дерево стола искусным арабескам вдохновенного негра, заведующего «батареями».

Счёт уплачен. Фауст встал, потянулся, как фокс, взял молодую женщину за талию и повернул пируэтом.

— Что будем делать?

— Ты проводишь меня в Voby Bar. Мне нужно повидать Алису, чтобы назначить ей свидание на завтра... Затем, если ты хочешь, мы пойдём в Saharet, там я увижу Леона, он должен мне денег... а потом...

Маргарита нежно посмотрела на красивого юношу, Фауст рассмеялся и поцеловал её в губы долгим поцелуем. Она повисла у него на шее. Жорж с красным лицом разжал объятие слабых рук. Маргарита оглянулась назад, желая убедиться, не забыла ли она чего-нибудь.

— Ах! Перчатки! — воскликнула она.

Фауст, держась одной рукой за ручку двери, ведущей в ресторанный зал, который надо было пройти, чтобы попасть к выходу, уверенно смотрел на девушку в то время, как она наклонилась к полу.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Когда Фауст вернулся в свой отель, назначив Маргарите свидание ночью в Saharet, он встретил в швейцарской Леона.

— А вот и вы! — сказал любезно хромой, — я целый час стучал к вам.

— Вполне понятно, — ответил Фауст, искажая рот гримасой, полной горечи.

— Вы мне нужны сегодня вечером. У меня есть товар для сбыта в один частный дом в Отейле, Вы нашли какое-нибудь занятие в университете?

— Шутник, — сказал Фауст.

— Ну, а как связь с Маргаритой?

— Вы знаете об этом?... Ах, да, я забыл... Благодарю вас, всё идёт очень хорошо, очень даже хорошо.

— Не дурачьтесь. У вас хорошее место. Эта женщина очень мила и, в своём роде, даже серьёзна.

— Итак, — ответил Фауст уклончиво, — я увижу вас через полчаса в табачной конторе за аперитивом.

Леон удалился, прихрамывая. Фауст поднялся к себе: он поспешил проделать свой туалет со всеми надлежащими аксессуарам, у себя, ибо ещё не завёл всего этого у Маргариты. Тщательно проводя пробор, он думал о Маргарите, о Леоне, которому задолжал свою душу, об этой опасной торговле химическими продуктами. Он больше не думал о своей былой старости, рассматривая своё теперешнее состояние, как совершенно нормальное. Подписанная им бумага казалась ему документом какого-нибудь шантажиста. Но полиция не могла вмешиваться в это дело, ибо документ был подписан кровью и, что самое главное, не только кровью, но ещё неким таинственным элементом, преступным и невесомым, которому кровь служила лишь материальным выражением.

Он не мог ни убить Леона-Мефистофеля, ни разорвать бумагу. Никакая ни человеческая, ни сверхъестественная сила не могли изменить того факта, что сделка была окончательно заключена.

— Ах, если бы мне удалось найти какого-нибудь дурака... — стонал он.

Весь день Фауст был озабочен, несмотря на восхительное воспоминание о своей возлюбленной, о своём друге...

— Я твоя жена, — сказала Ночная Маргарита.

— Ты мой друг, — ответил Фауст, — это меньше отзывается «субботним вечером».

В семь часов вечера Леон-Мефистофель вручил Фаусту, толстую книгу в кожаном переплёте, на корешке которого была этикетка с такой надписью:

D. Magni AVSONII Burdigalensis OPERA

Эта этикетка маскировала коробочку, наполненную маленькими пакетиками из белой бумаги.

Фауст положил книгу в карман, доехал на трамвае до Trocadero и направился в сторону Passy отыскивать маленькую улочку, обсаженную густыми деревьями, которые, будучи посажены слишком тесно, на маленьком клочке земли, вылезали поверх стен — в форме воронки.

Фауст без труда отыскал нужный ему номер. Он позвонил у калитки маленького трёхэтажного особняка, закрытые ставни которого не пропускали никакого света. Лёгкие шаги зашевелили садовый гравий, и калитка приоткрылась. Горничная в чёрном платье, в маленьком переднике, приколотом на груди, посмотрела на него в упор. Она была высокого роста, блондинка, гибкая, с некрасивым, но очень соблазнительным лицом, манеры её походили на манеры какой-нибудь русской княгини после случившегося несчастья.

— От господина Леона, — сказал Фауст, приподнимая шляпу.

— А! Хорошо, merci... до свиданья, месье.

— До свиданья, мадемуазель.

Теперь, освободившись от компрометирующей книги, Фауст почувствовал себя столь чистым, что закурил папиросу, не отдавая себе отчёта в своём жесте.

Он спустился, улица за улицей, к Сене. На борту одной из шлюпок пели на северном наречьи матросы.

На мостике Passy поезд метрополитена пересекал ночь, как сверкающая подробность в романе предвосхищений. Набережные казались пустынными. Но в тени мостов блуждали какие-то призраки.

«Не стоит рисковать случайной смертью», — подумал Фауст.

Он ускорил шаг, добрался до станции метро, светившейся как большой фонарь наверху грандиозной лестницы.

Фауст возвращался на Монмартр, сидя удобно на кожаном сиденье; он с отвращением оценивал по достоинству ужасающую пустоту этой посредственной молодости, доставшейся столь дорогой ценой. Кровь разгорячила ему щёки. Миловидная женщина украдкой посматривала на него.

«Я молод, — думал Жорж Фауст, — я молод, но у меня остались на моих белых стенах паутины в наследство от старого Фауста. Контракт, который я подписал — неполон. Я должен был бы предусмотреть вознаграждение, — солидную ренту до конца дней». Эта мысль его обеспокоила.

«Мой предок был богат, — подумал он, смотря на станцию Villiers. — Никогда он не испытывал денежных затруднений. Посмотрел бы я, какова была бы его вторая молодость при моей скудости». — «Точь-в-точь как моя», — ответил он сам себе, улыбаясь. Этот ответ вернул ему спокойное настроение. Он нащупал в кармане бумажник и вспомнил, что рядом с контрактом, о котором он не хотел думать, Маргарита незаметно всунула бумажку, очевидно, в сто франков. Желая убедиться, он вытащил бумажку. Это был лишь пятидесятифранковый билет: «Ах! дрянь!» — сказал он, вставая. Он вышел на площади Pigalle и, подхваченный главным двигателем своей социальной системы, почувствовал, что он будет вертеться кругом, как и все вечера, в этой своей жизни, начертанной наподобие карусели с органом, с мишурной позолотой, девицами, сидящими верхом на деревянных резных свиньях, и с полицейскими, спускающимися с луны. Он встретил Леона на террасе одного кафе.

— Сделано, — сказал он.

— Хорошо, — ответил хромой, роясь в кармане.

Фауст протянул руку и получил пятидесятифранковый билет. Засунув руки глубоко в карманы брюк, распустив живот, выставив напоказ свои шёлковые носки, онпил аперитив, между тем как Леон, читавший газету, вытирал кругленькую слезинку, вызванную компромиссом между носом и сердцем.

«Я же подписал этот акт, — думал Фауст, чтобы подбодрить себя. — Почему же, исходя из этого несомненного факта, я не мог бы найти какого-нибудь субъекта... в моём роде, который выберет... что я говорю?... который будет ослеплён возможностью использовать столь романтический образ действия?!»

Он подумал: «А если он меня арестует?». Фауст вынул документ из бумажника, развернул его и прочёл со всеми подробностями.

Леон, окончивший чтение газеты, наблюдал за ним уже несколько минут.

— Ну, что, не подходит?

— Собственно говоря, — пробормотал Фауст, вздрогнув, — я не совсем понимаю, какой интерес привлечёт того, кто поставит свою подпись после моей? Если он стар — разве он помолодеет? А если он молод?

— Нужно рассчитывать на дух альтруизма у мужчин и женщин, — сказал Леон-Мефистофель. — Чистота сердца — такое же украшение для духа жертвенности, как роза для щёк молоденькой девушки.

— Я подписал слишком поспешно.

— Вы сожалеете о вашей сделке? Я вот что могу вам предложить: разорвите оба документа в обмен на вашу молодость. Завтра, если вы этого пожелаете, вы можете проснуться снова в образе того старика, каким вы были ещё не так давно.

И прибавил:

— И маленькая Люсьенна будет опять приносить вам молоко каждое утро, до тех пор, пока сначала одна бутылка, затем две, затем три останутся нетронутыми возле двери. К вам проникнут, взломав дверь, и найдут вас на вашей гнусной

постели застывшим в гримасе последнего приступа кашля. И это вы называете идеалом?

— Позвольте, я не называю это идеалом... Я только хотел сказать, что возможности избежать вашего адского могущества кажутся мне весьма сомнительными.

— Вы суеверны, — сказал Леон. — И, несмотря на ваше философское образование, вы боитесь смерти из-за разных гипотез о том, что будет там, за гробом.

— Я ни во что не верю, — заявил Фауст, — но я вполне доверяю вашей сделке, как доверяю вот этой монете с дыркой (он показал её) — цифре 7, цифре 10 и цифре 2, удачное действие которых моё личное дело, зависящее лишь от меня и благосклонности этих цифр. Я боюсь смерти со времени вашего необъяснимого вмешательства в мою жизнь, боюсь с точки зрения научной. Я стал сомневаться теперь в уничтожении навсегда всего того, что составляет мою личность. Мне кажется, что следовать за вашей погребальной процессией, даже под жгучим солнцем, до какого-нибудь самого безнадёжного пункта в раскалённом пригороде, было бы для меня бесконечной приятностью, — литром холодного молока, влитым в рот на следующий день после попойки.

— Я вас отлично понимаю, — сказал Леон, ничуть не обидевшись. — Я вас понимаю и, если бы я был в вашей шкуре, я рассуждал бы точно так же. В конце концов, вы боитесь более всего страданий физических, и вы правы. На вашем месте я бы выпутался, пока ещё молод, подыскав заместителя.

— Мой предок не нашёл, — простонал Фауст.

— Это не входило в его контракт. И, кроме того, ваш предок был лишь относительно «прекрасной душой», — то, что мы называем «прекрасной душой», для удовольствия большинства. Но, между нами говоря, он даже не предвидел возможности освободиться от гнетущего его кредитора. Он бранил меня, милостивый государь, ругался со мной на том похабнейшем языке, который так нравился немецким клеркам его времени и который, как вы знаете, был высмеян рыцарем Ульрихом фон Гуттенем. Мы слонялись по кабачкам, излюбленным ландскнехтами и тяжеловесными девками с кинжа-

лом за подвязкой. Ах! Времена переменялись! Теперь Фауст мог бы попытаться счастья. Вот почему я и оставил вам некоторую возможность спасения.

* * *

Леон-Мефистофель, пообедав в обществе Фауста, покинул молодого человека, предоставив его любовным делам. Маргарита встретила со своим другом на площади Tertre, когда тот пил кофе на террасе маленького ресторанчика, как раз против того дома, где Фауст жил раньше. Маленькая, провинциальная площадь была полна столиков и гостей. Огнелотатели полыхали среди спящих с различными закусками гарсонов; маленькие насмешливые девочки, держась за руки, обменивались фривольными словечками, избегнув родительского контроля. Какой-то итальянец пел под аккомпанемент банджо, и его отчаянный голос неуклюже ударялся обо все препятствия. Ночная Маргарита, чинно сидя перед своим *safe' glase'*, смотрела на возлюбленного, освещавшего, в её глазах, всё место чувственным светом. Она ещё хранила в себе медленно замиравшую дрожь предыдущей ночи. Ныне присутствие любимого человека контролировало восторги её хитрого и неистового тела,

Она чувствовала себя восхитительно умиленной игрою, предшествовавшей минуте, когда она поняла, что отныне связана с этой судьбой, которую она окружала невысокими стенами, построенными её робким воображением.

Её возлюбленный как бы танцевал на кончике резиновой нити, которая внезапно удаляла его от неё, лишь только она пыталась его схватить. Она знала, что он — негодяй, — ибо иначе она не могла объяснить себе его связи с Леоном/— и знала, что он различного с ней социального положения, другого класса, который она считала, по традиции, высшим, несмотря на то, что презирала его редких представителей, известных ей.

Эта милая, взбалмошная женщина, развратная по натуре, без всякой литературщины, судила о жизни только с точки зрения своей профессии. Всё, что к этой профессии относилось, казалось ей логичным и нравственным. Она не могла

представить себе правосудие таким, как её случайные друзья. Эти люди кормили полицейских-сутенёров, которые их защищали, и для них это было правосудием. Она же, Ночная Маргарита, имела своего собственного сутенёра, который мог бы её защитить, — это было её правосудие. Оба правосудия сталкивались друг с другом, боролись день и ночь, и в воображении

Маргариты это была жизнь, так, по крайней мере, думала она, когда взбивала шампанское, одна, за столиком в *Saharet*, в тот час, когда клиенты ещё заставляют себя ждать. Всё казалось ей окутанным какой-то весёлой надёжностью, когда она бывала рядом со своим возлюбленным. Они сидели очень близко друг от друга, бёдра их соприкасались; она принимала этот контакт как награду. Она любила Фауста, как собачонка, которая ложится к хозяину на колени, и ей не хотелось покидать своего места, ибо она чувствовала, что каждый атом её тела распускается в этом соприкосновении, осуществление которого в такой естественной и, если хотите, целомудренной форме она не могла себе и вообразить.

— Сегодня вечером я свободна, — сказала Маргарита, и стыдливость сделала голос её хриплым и неприятным.

Фауст встал, покусал губы, посмотрел на часы. Затем он подумал о документе в своём бумажнике и снова опустился на стул с бессильным стоном:

— Ах! Моя дорогая, как я люблю тебя!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Ночная Маргарита, в белом платье, опираясь рыжей головой об улицу, пересечённую красными и золотыми змеями рекламных огней, была похожа на картину, избегнувшую сезанновского влияния. Когда она была молчалива и естественно смешивалась со своим окружением, она являла собой аристократический силуэт красивых и крупных ночных девушек. Она принадлежала к избранному обществу панели, которое тоже по-своему — «избранное общество». Она презирала бедных женщин, рассеянных между деревьями бульвара, или, в иные часы, жалела их. Когда она выходила на рассвете из Saharet или Royal, закутанная в свой *sortie de bal*, с руками полными сувениров весёлой ночи, она пугливо закрывала глаза перед тайнами дня, совлекавшими с неё уборы. Солнечные лучи злобно кусали её кожу. И с ними таяли, как снежная статуя, её ночные силы.

Но по ночам она забирала в свои руки все тайные намеренья властелинов дня. Все её движения, казалось, регулировались общественным агентом, прикрепившим лампы к фасаду набитых смятенными идеями домов. Она бессознательно жила довольно утончённой мозговой пищей, смесью артистических фиоритур и реминесценций биржи, интеллектуальными отбросами тех и других. При падении дня и приближении ночи Маргарита представляла собой социальную ценность, ещё плохо определённую, но, во всяком случае, неразрушимую. Фауст держал в своих слабых руках это существование, красное и серое, вписанное между двумя каноническими положениями девушки, — в лёгком, богатом туалете ночью, в ночных туфлях, небрежном пеньюаре — днём. Ночная Маргарита принадлежала ему и в ночных туфлях и вечером, когда блистала вызывающим туалетом. Царственная и, е то же время, полная такта, она принадлежала всем статистам, движущимся в свете, насыщенном американскими мелодиями. Фауст сохранял своё дневное «я», низко-авторитетное, ибо не обладал счастьем предка. Когда Маргарита отдавалась неге своих ночных туфель, он начинал командовать ею, покрики-

вать голосом адъютанта, наторевшего в литературной критике любви и нравов. Он одерживал победу на всех фронтах, и Маргарита смотрела на него с обожанием, волоча свои туфли через весь беспорядок комнаты, наводнённой всяческими бумажными сувенирами с последнего дансинга, где она оставляла свои силы вместе с пустыми бутылками от шампанского, с открытыми навстречу занимающемуся дню окнами, с опрокинутыми стульями и с ужасным запахом рассудочного сладострастия, застоявшимся под потолком, вместе с запахом интернациональных табаков.

Фауст с тех пор, как Маргарита взяла на себя все заботы о нём, перестал думать о своих делах с Леоном. Он только побаивался закона, стараясь целиком использовать, как можно лучше, свою новую жизнь, избегая в ней всяких обстоятельств, могущих повлечь за собой какое-нибудь несчастье. Он не переставая думал о своём предке, сожалел о том, что не может иметь новую душу, не заложенную, дабы завоевать состояние, прибегая к тем же магическим приёмам. Его ежедневно изводила мысль о продаже своей старости за такую цену; он сожалел, что не может быть вновь свободен, чтобы заключить новую сделку, столь же достойную сожаления.

Несмотря на то, что он презирал Леона, не проходило дня, чтобы Фауст не искал его общества. Он беседовал с ним на тему о преимуществах моральных страданий над физическими, излагал ему идеи, которые стремились обновить адские муки в желательном для него смысле.

— Вы трусите, — говорил Леон-Мефистофель.

Фауст подскакивал на месте:

— Я... я... я хотел только сказать, что ваше представление об аде — смешно. Например, христианские мученики никогда не были побеждаемы физическими муками. Такая концепция вечного наказания — абсолютно ребяческая. К страданиям тела привыкают сравнительно легко. Нужно суметь схватить ритм этих страданий, не напрягаться и рассуждать...
Надо...

— Я придаю большее значение физическим страданиям,
— упрямо повторял Леон-Мефистофель.

И чем больше он упорствовал, тем слаще становился его голос, тем больше бледнела от бессильной злобы его жертва.

Обмен этими нелепыми фразами составлял единственное умственное усилие Жоржа Фауста. Его самые коварные инсинуации не обладали достаточной силой. Атмосфера, в которой он эволюционировал, иногда подбодряла его, давая ему надежду, что его случай смешивается с какой-то вековой мистификацией, главная цель которой — питать обновлёнными видениями, по прихоти модных знаний, воображение одиноких лириков. Его собственная молодость и молодость Ночной Маргариты стирали эти грустные образы в избытках любви и реализации слов, необходимых в повседневной жизни.

* * *

Оперевшись локтями о колени, поддерживая голову руками, сложенными чашей, Маргарита, задумчивая, рассматривала лицо своего возлюбленного: юное лицо, с оттенком какого-то легкомыслия, тонкое, но в котором сквозила старость. Инстинктивно она чувствовала, что ей угрожает какая-то невыразимая опасность, ослепительней той, что рождается из испытанной ревности.

— Тебе нужны деньги?

Фауст поднял плечи, подвинулся, нервно ударил по подушке и вытянулся на спине, уставившись в потолок, с потухшей папиросой, прилипшей к нижней губе.

— Ты опускаешься, — сказала Маргарита.

Именно этого-то и не следовало говорить.

Фауст весь скорчился, как картонный плясун, которого дёрнули за верёвочку, вскочил на упругой кровати и выпрямился, покрасневший и враждебный, перед Маргаритой, видавшей и не такие виды.

— Я опускаюсь!.. Я опускаюсь!..

Его душило негодование, и оскорбительные ругательства поднимались за его зубами, словно дикие звери перед кормёжкой.

Он снова упал в изнеможении, обхватил голову руками и простонал:

— Какая молодость! Боже мой. Какая молодость!

— Если ты хочешь расстаться... — сказала Маргарита слабым, незнакомым голоском.

И тотчас стала нежной:

— И глупенький же ты, — говорила она. — Скажи мне что-нибудь... Ты ведь можешь довериться мне, я твоя жена...

Она посмотрела ему прямо в лицо:

— Ты нечисто сделал и боишься последствий? А? Я догадалась... Догадалась, а?

Она допрашивала его с каким-то энтузиазмом и старалась расширить зрачки, ибо, несмотря ни на что, не могла отделаться, даже в минуты искренности, от низменного пристрастия ко всяким общим местам экрана и театра.

Фауст, с видом самой глубокого отчаяния, использовал представлявшийся ему случай. Он встал, бросил папироску, порывлся в кармане пиджака, достал бумажник и бросил на стол сложенную вчетверо бумажку.

Молодая женщина ловко её подхватила. Она развернула и прочла, хмуря лоб, этот необычайный документ, ничуть не изумившись, по крайней мере внешне.

— Да, ты не совсем хорошо устроился, — сказала она просто.

— Как... но речь идёт о моей душе!

Он прикусил губы, но, понятно, было уже слишком поздно.

— Правда... — сказала Маргарита... — речь идёт о твоей душе.

Она не совсем понимала. Но воспоминания из катехизиса рассеяли все слова облегчения, которые она предвидела.

— Ты продал душу, — повторила Маргарита.

— Я продал душу, чтобы обладать тобой, — сказал Фауст, вникая в её позу.

В этот миг он говорил, действительно, чтобы спасти свою душу. С того дня, когда он вновь стал молод, он думал лишь о спасении души, бессмертие которой ему было отвратительно.

Маргарита серьёзно изучала документ, ища какой-нибудь уязвимой точки в этой с виду несложной и скромной катастрофе.

— Ты подписался собственной кровью, — сказала она тоном человека, который подчёркивает чей-нибудь ложный шаг.

Фауст пожал плечами.

— Придётся найти какого-нибудь старика — подписать эту бумагу.

— А что же Леон даст ему в обмен?

— Молодость со всеми её радостями.

— Ну, тогда это никогда не кончится, — сказала Ночная Маргарита. — Понимаешь ли, дорогой мой... если какой-нибудь старик подпишет эту бумагу, твоя душа освободится, а его будет схвачена... Хорошо, тогда Леон получит душу старика в час его смерти... но если, перед смертью, старик сумеет всучить эту бумажку какому-нибудь другому старцу, Леон должен будет ещё дожидаться... Поскольку всегда будут находиться старики, желающие омолодиться, Леон не сможет получить вознаграждение за свою комбинацию?..

— Об этом я не подумал, — сказал Фауст, заинтересовавшись, — но ты права, знаменитый принцип зла носит в себе элементы своего собственного разрушения. Это совершенно согласуется с общими идеями, которые я собирал по этому вопросу, когда мне было восемьдесят два года.

Ночная Маргарита качала головой, как уравновешенный человек перед кучей добрых советов, следовать которым не так-то легко. Фауст ходил взад и вперёд по комнате, почёсывая затылок или постукивая папироской по верхней части руки.

— Я стараюсь вспомнить имя, имя одного типа, — сказала Маргарита, копавшаяся в своей памяти, как в чемодане. — Я знаю много стариков, одного сенатора, он — адвокат... этот не согласится... одного старикана, управляющего, кажется, банком... этот тоже никогда не согласится. Ах! Если бы полковник не умер в прошлом году, я бы могла его заставить подписать всё, что захотела бы... но он умер...

— Именно, — ответил Фауст.

— Знаешь, мой дорогой, ты должен оставить мне эту бумагу. Может быть, мне удастся использовать какой-нибудь случай. В Saharet встречаются такие чудные типы...

— Это несносно, — сказал Фауст. — Я боюсь, что у тебя затаскают мой документ. Это очень важно; если документ исчезнет, нечего будет подписывать, и я останусь на веки вечные с моим осуждением.

— Ты считаешь меня совсем идиоткой?

— Подумай немного, Маргарита, и представь себе феноменов, которым ты предложишь этот документ. Ведь они не подпишут его, не прочитают!

— Я скажу, что это подписка на благотворительный бал.

— Делай, что хочешь, — вздохнул Фауст, — быть может, ты и права.

* * *

Войдя в красный с белым зал Saharet, Ночная Маргарита приветствовала рукой своих молоденьких знакомок, сидящих за столиком с напитками, предоставленными им заведением. Они сидели чинно в ряд на красной бархатной банкетке, прижавшись друг к другу, совсем как красивые, безголосые птички. Джаз-банд, думая о своих маленьких делишках, подхватывал мелодичное течение серафического саксофона. Банджо выбивал интервалы в ритме турбинных мельниц. Ночная Маргарита положила шляпу-клёш рядом с собой, взбила обеими руками волосы, бросила на стол сумочку и принялась оценивать возможности, блуждавшие перед её глазами вместе с фантомами в смокингах.

Старик, корректный и чёрный, как кипарис, улыбнулся ей. Она под села к нему и подкрасила губы, пока он заказывал шампанское.

«На вид он не глуп», — с горечью подумала Маргарита.

Диалог, целиком извлечённый из книжки француско-английских разговоров — незнакомец оказался британцем, — завязался между ними, разукрашенный улыбками.

— О! Угодно ли вам провести ночь в моём обществе?

— Вы настоящий шалун...

— О, шампанское сухо, не найдётся ли получше?.. etc.

«Я ни за что не решусь показать ему мою бумагу», — думала Маргарита.

Непреодолимая робость запутывала её в свои прочные, безнадежные сети. Маргарита уж больше не смотрела на стариков прежними глазами, понимала их не так, как раньше, до удивительного конца этого дня, когда в её комнате возлюбленный посвятил её в детали этой невероятной, ошеломляющей сделки, которая, однако, не показалась ей окончательно невероятной и ошеломляющей.

Она увидела на другом конце залы, в то время, как её клиент, казалось, приходил всё в большее внутреннее возбуждение, другого старика, который по первому взгляду показался ей человеком необычайного ума и ясности.

В эту ночь перебивало около тридцати одетых в смокинги стариков, прямых и высоких, как кипарисы. Салон *Saharet* со своими скульптурами и весёлыми кипарисами напоминал *campro-santo* в каком-нибудь городе Северной Италии. Эти тридцать стариков, все тридцать, выказывали внешние признаки утонченности, учливой хитрости и самого традиционного ума дельцов.

В своём воображении Ночная Маргарита перебегала от одного к другому, как обезумевший шарик в азартной игре, в которой судьба — против неё; она держала в руке, погружённой в сумочку, маленькую бумажку, причинявшую ей боль, как ожог.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Ночная Маргарита была поистине потрясена той коварной, сентиментальной сценой, когда Фауст искал возможности спасения. Молодая женщина была влюблена в таинственного человека, ночное существование которого она услаждала, и который стал для неё светом, проливающимся на некоторые детские, привычные чувства, о которых она не думала со времени первой исповеди, хотя её и считали еврейкой. В присутствии Фауста, когда он спал, а она с восхищением его созерцала, оживали все химеры, когда-либо возникавшие в её воспоминаниях. В ней рождалось необычайно мягкое чувство от знания этого необычайного прошлого, и временами её возлюбленный казался ей красавцем, молодая кожа которого прикрывала скелет, уже изъеденный могильными червями. Она погружалась, без ведома Фауста, в нежность, разливавшуюся в её существе как приступ лучезарного счастья. Она касалась лица своего возлюбленного с тысячью предосторожностей. Боялась его испортить. А когда лёгкое дуновение ветра волновало деревья, она заботливо окутывала его шею своим фуляровым шарфом.

В такие минуты Фауст становился для этой сентиментальной и ожесточённой девушки и почтенным дедушкой, и грудным младенцем, и очаровательным бездельником в духе времени. В подобных условиях склонность к жертве, которую каждая женщина носит в себе, как цветок, готовый распуститься, могла лишь расцвести, соприкасаясь со страданиями Фауста, сверкавшими, как звезда, в этой случайной, проходной комнате.

Однажды вечером влюблённые зашли в тот маленький кабачок de la Butte, где Маргарита как-то забыла свою перчатку. Ничто не изменилось. Только летняя жара несколько видоизменила подробности убранства. Тот же самый пейзаж оживлялся в атмосфере тропической, но экс портной. В беседке шипела газовая бабочка.

Ночная Маргарита вздохнула перед пустой тарелкой:

— Сегодня ровно год, как мы вместе. Помнишь малышей, которые пели в монастыре?..

Фауст кивнул головой в знак согласия. Отвалившись к спинке стула, вытянув ноги, он переживал один из приятнейших часов своей жизни, как животное в моменты самого элементарного бытия.

— Да, ровно год!

Тогда Ночная Маргарита, чтоб принять какую-нибудь позу, закурила папироску и, наклонившись над столом к Фаусту, сказала ему:

— Мой дорогой, мне хочется поздравить тебя с твоим праздником... Я подумала о тебе...

Она открыла сумочку, вытащила оттуда маленький бумажник из мягкой кожи и протянула его своему возлюбленному.

Тот взял подарок, исследовал качество кожи, не смог оценить её и сказал:

— Ты, должно быть, заплатила за это очень дорого, моя дорогая?

— Да посмотри же внутри! — воскликнула Маргарита.

Фауст раскрыл бумажник. Он увидел кусочек бумажки, сложенной вчетверо. Он развернул её, и лицо его сжалось, как кожаный мешок, когда стянут верёвки.

— Ах! Это... это... ты не смогла, да?

— Да прочти же! — вскрикнула снова Маргарита. — Прочти до конца!

Фауст ещё раз прочёл столь раздражающие его слова контракта, но под своей подписью он увидел чью-то другую — неуклюжую и старательно выведенную: Маргарита Пьеделен, иначе Ночная Маргарита, преданная девушка.

В течение нескольких недель Фауст был в прелестном настроении, оптимистическом и бодром. С тех пор, как он разорвал нити, связывавшие его с адской личностью Леона, он жил в некоем трепетном ликования, несколько раз приводившем его на расстояние нескольких сантиметров от колёс трамвая или автомобиля. Но он с ангельской улыбкой сносил ругательства выведенных из себя шофферов и удалялся без малейшей злобы. С другой стороны, Ночная Маргарита, про-

давшая свою душу, чтобы спасти душу возлюбленного, казалось, погибала. Она теряла свои очаровательные ночные краски и вынуждена была тщательно подкрашиваться для выполнения своей работы.

Фауст говорил ей:

— Ну, моя бедняжка, ты только зря забиваешь себе голову, ты помешалась на одной мысли и без конца только этим и утруждаешь свой мозг. Ты подписала эту бумажонку Леона, но не нужно же придавать этому такого значения. Леон способен только на блеф. Я убедился в этом не дальше, как вчера. Ты ведь знаешь Жоржет? Ну, так вот, она вчера попросила у Леона двадцать грамм этого... etc... etc... etc...

Ночная Маргарита не слушала его. Она наклонила свою рыжую голову и прошептала:

— Надо бы найти старичка...

— Но ты же его найдёшь, — настаивал Фауст. — Ведь для тебя — это пустяк, один из счастливых случаев твоей профессии. У тебя тысяча возможностей избавиться от твоей подписи, как только ты этого действительно захочешь. Я со своей стороны тоже ищу... Ну, дорогая, когда ты встретишь старичка настоящего, чистокровного старичка, — то, что ты называешь «Vios» на твоём живописном языке, — тогда мы снимем в Nogent маленький домик, купим себе руководство по садовому искусству, посеём редиску, лук и... что ещё?..

Он вытягивал губы, подстергая поцелуй.

— Оставь меня, — сказала Маргарита. Потом она принималась плакать.

Фауст воздевал руки к небу:

— Но, мой бог, я тебя не понимаю! Нужно иметь терпение святого, чтобы жить с тобой рядом... Да что же с тобой, чёрт возьми, что с тобой? Почему ты плачешь?

— Не знаю, — отвечала Маргарита. — Оставь меня.

— Я убеждён, что ты морочишь себе голову этим документом...

— Пора уже уходить, — отвечала Маргарита, вытирая слёзы.

Фауст через полуоткрытое окно смотрел, как на площади Pigalle зажигались огни.

— Пойду отыщу Леона, моя дорогая. Он обещал познакомить меня с одним стариком. У него, — ведь, он способен только на блефы, — как будто есть список за год всех стариков Парижа и заграницы. Я подожду тебя в табачном бюро до трёх часов, если ты не...

Он подходил к ней, она возвращала ему поцелуи, рыдая на его плече.

— Дурочка! — говорил Фауст, ласково похлопывая её рукой.

Так проходили дни. А по ночам Маргарита, разряженная, как настоящая женщина из Saharet, отправлялась на поиски старика, который пожелал бы обменять душу на свежую кожу, и блестящие глаза здорового юноши.

Маргарита, истомлённая, вытягивалась на красных бархатных диванах. От постоянного общения со стариками, она становилась бледной, чувствовала себя нехорошо и всегда рассказывала одни и те же истории. Шум джаз-банда больше не проникал в неё, и она вся как-то съёживалась, чтобы сохранить свою декоративную позу, словно толстый человек, втягивающий в себя живот, чтобы казаться хоть немного тоньше в купальном трико.

Все её попытки заставить подписать пресловутый контракт кончались плачевно. Одни посмеивались, другие обсуждали невероятность сделки, но не подписывали. Однажды дело почти удалось с одним семидесятилетним пьяницей, находившим всё это очень забавным и заявившим перед метр-д'отелем, желая афишировать некую философическую позу:

— Я подпишу эту бумагу, дайте мне перо... и... чернила...
Нужно было подписать кровью.

Ночная Маргарита пыталась раскатать его. Она храбро боролась в течение целого часа, но мычанье старого шалопая привело её в отчаяние.

— Ты тут скандалишь, — сказал хозяин: — мне это не нравится.

Она вернулась к себе, разочарованная. Затем немного успокоилась, так как Фауст не переставал повторять ей:

— Ты напрасно сама себя расстраиваешь!

Маргарита встала раньше своего возлюбленного и принялась за укладку платьев, белья из комода и шляп. Этот необычный шум разбудил Фауста. Он выпрямился, растрёпанный с полуоткрытыми глазами.

— Что с тобой? Ты с ума сошла?

— Я уезжаю, — сказала Ночная Маргарита. — Я не могу больше здесь жить... Вчера Эмиль окончательно выставил меня из Saharet... Я еду в Трансвааль или в Южную Америку. Мне говорили, что тамошние старики — не умеют ни в чём отказать женщинам.

Фауст, теперь совершенно проснувшись, утвердительно кивнул головой.

— Ты нашла выход!

— Ах, молчи! — сказала Маргарита с отчаянием.

— Моя дорогая... — начал было Фауст.

Старательная Маргарита хлопотала, отбирала бельё, безделушки, методично укладывала всё это в кожаный чемодан.

Фауст, не говоря ни слова, принялся за туалет.

Бреясь, он наблюдал за молодой женщиной уголком глаза, как осторожный укротитель следит за движениями любимой пантеры, которую он вскормил рожком.

Маргарита была готова первая. Она терпеливо ждала, сидя ка кровати, когда её возлюбленный оденется.

— Итак? — сказала она.

— Пойдём завтракать вниз. У тебя есть билет? Однако, куда ты едешь? Знаешь ли ты, что ты сейчас делаешь?

— Билет у меня есть, — сказала Маргарита, и лицо её стало твёрдым как дерево, — у меня занято место на пароходе, уходящем послезавтра из Гавра, — пароход этот называется... — Она поискала в сумочке, достала билет и прочла: — La Touraine.

Фауст, не ответив, открыл дверь. Ночная Маргарита встала вслед за ним. На пороге она повернулась и сказала:

— Ты продашь мои тряпки... которые я оставила...

И подбородок её задрожал. Они позавтракали в ресторане рядом с отелем — Маргарита старалась не опускать голову — из-за слёз. Фауст — тоже старался на неё не смотреть, ухаживал за ней с подобострастием.

Когда завтрак был окончен, Маргарита первая встала из-за стола.

— Скажи Эрнесту, гарсону, чтобы он принёс мой багаж. Я не хочу вновь подниматься наверх.

Фауст вошёл в отель и, пока Маргарита нанимала такси, он принёс багаж и положил его рядом с шоффером.

— В котором часу твой поезд?

— Два десять.

— Мы как раз успеем... Но ведь билет у тебя взят.

Маргарита вышла из такси, не обращая внимания на Жоржа. Она быстрыми шагами прошла через большой hall. Она шла, не оглядываясь.

— Подожди меня, — крикнул Фауст, остановившись перед автоматом с перронными билетами.

Маргарита остановилась.

Он нагнал её, отыскал поезд и обошёл всё купе первого класса, один за другим. Наконец он нашёл свободное купе. Положил чемодан на сетку и сказал:

— Лучше я уеду сейчас же... Ты вернёшься, Маргарита, ты скоро вернёшься, свободная... Выброси всё вон из головы... Клянусь тебе, вся эта история уладится... Поцелуй меня, моя дорогая!

— Прощай, — сказала Маргарита.

Он поцеловал её в губы, она вся съёжилась. Затем, с минуту поколебавшись, он повернулся и ушёл...

— Жорж! — крикнула Маргарита.

Он обернулся и подошёл снова.

— У тебя есть деньги? — спросила Маргарита, едва слышно.

Она сунула ему в руку несколько бумажек:

— Возьми и уходи, уходи и не оборачивайся.

На Амстердамской улице Фауст вновь обрёл своё хладнокровие. Он подставил лицо прямо солнцу. Он почувствовал

в себе прилив радости, шедшей откуда-то издалека, таившейся в течение, по крайней мере, сорока лет.

Ибо он знал, что это чувство лёгкого сентиментального волнения, ложившегося как бы траурным крепом на его мысли, не продлится более семи-восьми дней. Он пересчитал деньги, которые оставила ему Ночная Маргарита, — пятьсот франков.

Положил их в карман, потёр лоб, дабы отогнать слишком отчётливый образ поезда на десятом пути, и стал подниматься по направлению к Монмартру.

Первое лицо, которое он встретил, войдя в табачную лавку, чтобы выпить аперитив, был Леон.

— Здравствуйте, дружище, — сказал Фауст очень любезно. Затем протянул руку: — Всё хорошо?

— Итак, — повторил Фауст, всё ещё стоя с протянутой рукой...

И Леон кончил тем, что пожал эту руку.

Marguerite de la nuit, 1925

Перевод: А. Вейнрауб

Содержание

<i>МиМика</i>	3
Иешуа Ганоцри	5
<i>Заключительный вздох сожаления</i>	94
Прокуратор Иудеи	104
Студент	121
Гефсимания	125
Ночная Маргарита	151